



# ХУСЕН АНДРУХАЕВ

КИРИМИЗЕ ЖАНЭ

**КИРИМИЗЕ ЖАНЭ**

**ХУСЕН АНДРУХАЕВ**

**КРАСНОДАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1974**

Киршанзе Жанэ

**ХУСЕН АНДРУХАЕВ**

Авторизованный перевод П. Плесакачевского.

Редактор П. А. Стародубцев. Обложка художника Р. Г. Ломоносова. Художественный редактор Б. Д. Недоспасов. Технический редактор Е. П. Кокорина.

Слапо в набор 14 августа 1973 г. Подписано к печати 30 ноября 1973 г. Бумага типографская № 1. Формат бумаги 70 х 90/32. Усл. печ. л. 4,09. Учетно-изд. л. 3,92. МА 01118. Заказ № 3057.

Тираж 5000. Цена 13 коп.

Краснодарское книжное издательство, Краснодар, улица Красная, 74. Типография издательства «Советская Кубань», Краснодар, улица имени Шаумяна, 106.

© Краснодарское книжное издательство, 1974.

Работая над книжкой о жизни моего двадцатилетнего друга, первого советского литератора, удостоенного высокого звания Героя Советского Союза, я полагал, что все основные материалы о Хусене Андрухаеве мне известны. А когда повесть в основном была завершена, встретился мне еще один замечательный документ. Михаил Котов и Владимир Лясковский опубликовали в «Огоньке» главы из документальной повести «На южном фронте». Писатели, судя по всему, пользовались обширными архивными материалами. В одной из глав, между прочим, указывается, что в дни ожесточенных ноябрьских боев на рубежах 136-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник Е. И. Василенко и в рядах которой сражался Хусен Андрухаев, побывал заместитель начальника политуправления Южного фронта Леонид Ильич Брежнев. Привожу небольшой отрывок из повести:

«Бригадному комиссару принесли листки в рыжих пятнах крови, с обгоревшей фотографией — это было все, что осталось от партийного билета политрука Хусена Андрухаева, поэта, адыгейца по национальности... «Рус! Сдавайся!» — орала фашисты. В ответ им Хусен

крикнул: «Русские не сдаются!» — и, подпустив немцев, разметал их гранатой и сам погиб.

Держа в руках листочки партийного билета, бригадный комиссар сказал стоявшему рядом командиру дивизии:

— На советской земле Хусен был хозяином, и не мог он ответить немцам иначе: «Русские не сдаются»...»\*

Хусен навсегда остался двадцатилетним.

Как же воспитывался, как жил он, каким был, как стал героем?

У меня много хороших друзей. По-настоящему хороших. Умных, талантливых, добрых, заботливых товарищей. Они готовы поделиться со мной последним куском и даже последней рифмой. И я уверен — они не затаят обиды, услышав это признание: с каждым днем я все острее чувствую, что мне не хватает одного старого друга.

Да, это так.

Когда я был моложе, я осознавал ту давнюю потерю не столь остро. Иной раз оглядывался в недоумении, словно надеясь, что все станет на прежнее место. Ощущал порой какое-то неудовлетворение, но не докапывался до его истоков. Становился рассеянным, уходил в себя. Бывало, пошутит товарищ, а я лишь из вежливости улыбнусь. Бывало, похвалит товарищ, а мне покажется, будто «выдал» он мне чуть побольше, чем надо. Бывало, посадит за стол и потчует, забыв о других гостях, а у меня пропадает аппетит...

И вдруг взглянешь на себя со стороны, задумаешься: что останавливает меня, что притормаживает? Ведь я не мог ни одного из друзей даже в минуту злости заподозрить в не-

\* «Огонек», 1972, № 20, с. 12.

искренности или в чем-нибудь ином, недостойном хорошего человека. И все же в отношениях с некоторыми все чаще чувствовал себя словно бы связанным.

Почему?

Я долго не мог найти подходящего ответа. И вдруг во время какого-то разговора мелькнуло: избыток доброжелательства. Меня пугал в них избыток доброжелательства.

Найдя это определение, я старался не обращать внимания на излишки в отношениях с друзьями. Такова жизнь: стремление уважить друга порой порождает чрезмерность. Так сильная любовь оборачивается иной раз слепой и безрассудной ревностью. А уж если потчевать, то так, чтоб никто никогда не заподозрил тебя в неискренности.

Нет, я против рационализма и в дружбе, и в любви. Но и против этой ужасной формулы слепой дружбы: «Ты мой друг, значит, ты всегда прав».

Так я пришел к мысли, что дружба — это прежде всего высокая взаимная требовательность. И тут же вспомнил, что истина эта не нова, я усвоил ее, общаясь в юности с тем добрым старым другом, о котором в более зрелые годы стал вспоминать все чаще и чаще. Вспоминал его, перечитывая свои новые стихи, — мне не хватало его дружеского прямого мнения; вспоминал, выступая с ними перед читателями; вспоминал, выступая с ними перед читателями, — старался подражать его гулкому, проникновенному голосу; вспоминал и в праздничные дни — больно было, что бокал его остается нетронутым.

Так вполне осознанно всплыла та мысль, которая раньше мелькала лишь время от вре-

мени: мне все сильнее не хватает того самого старого друга. Друга, который обладал всеми качествами моих нынешних друзей, готов был ради дружбы и товарищества на все, но не страдал распространенным в наши дни избытком доброжелательства. Друга, который ни при каких обстоятельствах не сдал бы в набор мои недоработанные стихи. Друга, который бы, стесняясь своей прямого и смелости, сказал бы мне, протягивая прочитанные листки:

— Киримизе, не торопись! Мы еще не так известны, чтобы печатать заготовки и наброски. Подшлифуй, ты ведь способен на большее.

Быть может, это плохо, но лишь почти через тридцать лет после гибели друга я во всей мере, во всем значении ощутил громадность потери, осознал, что рядом с нами нет Хусена Андрухаева.

Что говорить, потерю эту я сердцем ощущал с того самого дня, когда узнал из «Правды» о гибели Хусена; рана в сердце не зажила, его место в моей жизни оставалось незаполненным. Но вся трагичность потери обнаружилась лишь через много лет, когда я научился глядеть на себя как бы со стороны, так как глядел бы на меня сам Хусен.

И тогда день за днем, час за часом моими мыслями все более стал овладевать друг, с которым судьба связала нас морским узлом еще в отрочестве.

Я прочитал все, что написано о Хусене, первым советском писателе, которому было присвоено звание Героя Советского Союза, и мысленно порадовался: Родина отдала щедрую дань памяти юного героя, его воинский подвиг описан во всех подробностях.

Но вместе с радостью нарастала и тревога: люди, все знающие о подвиге Хусена, ничего не знают о том, как рос он, как жил, как прожил свою короткую, но яркую, похожую на вспышку молнии, жизнь. В двадцать лет ныне многие юноши и девушки все еще, как они сами выражаются, «определяются». Хусен успел не только определиться как человек, как гражданин, как поэт, как воин, как мужчина, наконец. В глазах всех, кто его знал, это был вполне созревший, целиком и полностью уяснивший свою роль и свое место в жизни советский патриот. Такое впечатление производил он не только на сверстников, друзей, но и на людей старшего поколения — педагогов, командиров, зрелых поэтов и писателей.

Доказывать это не приходится — своим подвигом Хусен сам подвел итог своей необыкновенной жизни. Но рассказать о том, каким он был, в какой среде жил, в какой семье воспитывался, как воспринимал окружающее, — значит подвести к пониманию природы его подвига, а может быть, и природы подвига вообще.

Мысли о Хусене приходили все чаще и чаще, наплывали воспоминания о годах, проведенных вместе. Память действовала почти произвольно — ведь с четырнадцати лет мы жили в одной комнате, спали рядом на одинаковых узких железных койках, укрывались одинаковыми серыми суконными одеялами без пододеяльников; рядом завтракали, обедали, ужинали; рядом писали по ночам на кроватях стихи, а когда не писалось, спорили о Маяковском и Есенине, Пастернаке, Светлове и Багрицком, Темботе Керашеве и Мурате Парануке.

Чего только не было — и озорные шутки, и серьезные дела, и бесцельные прогулки, и напряженная работа. Но впереди всего стояло наше отношение к действительности. Наше настроение тогда определялось сообщениями о боях в Испании, телеграммами о фашистских парадах в Берлине, где под вопли «Хайль Гитлер» сжигались произведения Карла Маркса и Вольфганга Гете, Ленина и Толстого, Гюго и Диккенса.

Чего только не было. И все же теперь все чаще вспоминается один и тот же эпизод.

Утро воскресного дня. Май. В распахнутые окна врывается густой аромат распустившейся белым цветом акации. В столовой почти никого — ребята из ближайших аулов отправились по домам. Хусен попивает чаек из большой эмалированной, белой изнутри и зеленоватой снаружи, кружки. По взглядам, которые бросает на меня, догадываюсь: уже что-то задумал. Сдерживая срывающийся с языка вопрос — я с детства зарубил на носу, что «настоящий адыг» не должен быть болтливым, — попиваю чаек. Наконец весь хлеб съеден, а чай допит.

— Пошли! — говорит Хусен и солидно поднимается со скамьи. Как взрослый.

Вот, написал «как взрослый» и остановился. Вовсе не «как». Он был вполне взрослым в свои шестнадцать лет. И не потому, что, подражая старшим товарищам и соблюдая адыгейский этикет, на людях он вел себя солидно. Не в том дело. Хусен рано почувствовал свою ответственность перед обществом. Он твердо знал, что государство кормит, поит и обучает нас вовсе не за красивые глаза. Мы готовились к самостоятельной жизни не только как рабо-

тяги, которые не будут в тягость родителям и сами себя обеспечат материально, — на этот счет все было ясно лет с восьми-девяти, — но и как граждане Советской страны, отвечающие за судьбы мира.

Пусть читатель не подумает, будто это громкая фраза, за которой ничего нет. Я говорю о факте тех дней. Иной была жизнь, иные требования она предъявляла. Наше поколение дышало воздухом героизма. Имена героев гражданской войны и героев первых пятилеток сливались в единое целое, каждому было ясно, как надо себя вести. Многие удивляются тому, как быстро выросли дети в годы Великой Отечественной войны. Но так было и перед войной. И особенно взрослым был Хусен. Теперь понимаю — он не стремился к тому, чтобы казаться или быть взрослее нас, и все же очень выделялся — видимо, его яркое поэтическое дарование способствовало более глубокому, более разностороннему познанию мира, он рос много быстрее своих сверстников.

Однако я отвлекся. Тогда я не спросил у Хусена — куда. Задавать лишние вопросы, как и болтать попусту, не пристало «настоящему адыгу». Молча пошел за Хусеном.

Он был чуть-чуть ниже меня. Огромная копна искристо-черных волос на голове. Впрочем, не копна, именно не копна. Копна конусообразна, а волосы на голове Хусена — словно черный берет. Голова его расширялась вверх от ушей, и густые черные волосы лежали на ней, как берет. У него был шестьдесят второй размер головного убора. Но голова не казалась слишком большой потому, что все в нем было соразмерно. И еще потому, что у него бы-

ли особые глаза — большие, черные, выразительные. Я бы сказал, говорящие глаза. Человек, знакомящийся с Хусеном, невольно оставивал свой взгляд на его облике, глазах, воспринимая все в целом, не отмечая частности. При взгляде на Хусена сразу можно было определить, что это — вождь. И я иду за ним, сдерживая желание спросить — куда?

Но Хусен обладает еще одним качеством, которое делает его превосходство над нами почти незаметным, — я имею в виду чувство меры. Во дворе он придерживает шаг, а поравнявшись со мной, сообщает:

— Пойдем в музей. Заглянем в тир, а потом — в музей.

В тире мы бывали часто. То небольшое количество патронов, которое мы могли приобрести, расходовалось предельно расчетливо. Стреляли из одной винтовки по одной мишени по очереди. Хусен — первый, я за ним. Поначалу он стрелял лучше — у него был опыт: отец изредка брал его с собой на охоту. Но с его помощью подтянулся и я. Короткие, точные советы помогал.

— Успокойся, дыши ровно, за тобой не гонятся. Руки, руки... Сделай так, чтобы они не дрожали, командуй ими, пускай в ход волю. Так! А теперь целься. Прищурь левый глаз. Где мушка? Вровень? Проверь еще раз. Вровень?

И ствол винтовки у меня не вихлял, руки твердо держали оружие, я подводил мушку точно под яблочко и не спеша тянул спусковой крючок. Не дергался и в момент выстрела.

— Ну вот, здорово!

Хусен радовался так, словно это его пуля

опрокидывала мишень. Теперь я понимаю: он не просто вожаком был, а вожаком-организатором. У вожака ограниченная цель — он добивается первенства, причем нередко — любой ценой, даже ценой чести товарищей. Вожак-организатора личный успех не устраивает, ему этого мало. Обучая меня стрельбе, Хусен тогда вряд ли думал о том, что мне, как и ему, придется целиться в живого врага и каждый промах на какое-то мгновение отодвинет час нашей победы.

А может, и думал. В шестнадцать-семнадцать лет, повторяю, он был очень взрослым. Не боясь преувеличения, скажу — взрослым, как Аркадий Гайдар или Николай Руднев. А может, как Юрий Гагарин или Николай Островский. Ведь не зря же прямо из тира повел он меня к тому стенду в исторический музей.

Уплатив за вход — учащимся полагалась скидка, — Хусен вдруг как-то выжидательно улыбнулся. У него была такая особая улыбка, когда он готовил товарищам приятный сюрприз. Улыбка эта была едва заметна. Видно было, что он получал удовольствие, доставляя удовольствие друзьям, приятелям, даже людям мало знакомым.

— Ты никогда не был в музее? Потом посмотрим все подряд, — сказал он. — А сейчас — иди за мной. — И он уверенно зашагал по коридорам, затем подвел меня к стенду, расположенному в одном из залов справа от окна. У стенда остановился.

Ни слова.

Я сразу заволновался — со стенда на меня глядело суровое лицо адыга.

«Махмуд Хатит», — прочитал я.

Это имя было известно, как и каждому адыгу, — легенды о Хатите жили в каждой сакле на правах первых воспоминаний. Рассказывали разное. Беднота называла его героем, освободителем, богатеи именовали позорной кличкой «унару» — грабитель, бандит, кровопийца.

На фотографии, сделанной в годы гражданской войны, Махмуд Хатит был худощав, скуласт, мрачен, решителен. Во всем его облике чувствовалась непреклонность; в глазах — убеждение, уверенность.

Я читал текст — в нем шла речь о подвигах нашего земляка, знакомился с документами.

Знакомился... Слово-то какое. Это следовательно знакомится с документами, которые выкладывает ему уличенный на месте преступления мошенник. А я жадно, задыхаясь, не замечая ничего вокруг, перескакивая через строчки и начиная сначала, читал факты из жизни адыгейского национального героя, героя гражданской войны Махмуда Хатита. Калейдоскоп подвигов. И погиб он во время трагического отступления XI Красной армии на Астрахань как герой — в неравной схватке с врагами, сдерживая натиск черных казачьих свор.

Уж не знаю, сколько времени прошло, когда я взглянул на Хусена. Он не почувствовал моего взгляда. Чуть сбоку всматривался он в портрет Хатита. Мне показалось, будто Хусен вчитывается, вернее, определяет мысли героя. Или впитывает в себя его веру в светлое будущее. Или шепчет клятву: быть таким же...

— Здорово! — не выдержал наконец молчания я.



— Здорово! — сразу же откликнулся Хусен. — А знаешь, что тут самое необыкновенное? Нет? Удивительнее всего то, что тут не рассказано и о сотой доле подвигов Хатита. Я как-то встретился со стариком из Бжегокая, он столько историй хранит. Хочешь знать? В этом ауле еще живет брат Махмуда, Ханашх. Правда, он глухонемой, но с помощью жестов разговаривает. Вот куда надо бы съездить с агитбригадой. Жив, говорят, и командир его бригады, где-то возле Васюринской живет. Он, говорят, после разгрома белых специально прибыл со своим штабом в Бжегокай, собрал народ и рассказал о том, как сражался и погиб Махмуд Хатит.

После этого мы начинаем осмотр музея в установленном порядке. А когда доходим до «нашего» стенда, снова надолго задерживаемся. Эта вторая за один день встреча с Хатитом еще более необычна, чем первая. Меня уже интересуют не столько факты, сколько их психология и значение. Мы тихонько обмениваемся репликами.

Выходим из музея. Репродуктор — они тогда были на каждом столбе — сообщает о трудных боях в Испании. Хусен останавливается. Брови насуплены, кулаки сжаты. Вздыхает. Скривит зубами.

— Ничего, — выдыхает он. — Ничего, они еще свое получают. Получат, гады, свое...

По дороге в общежитие он вдруг «отключается». Я знаю — сейчас Хусен что-то слагает. В общежитии набрасывает найденное на бумагу, потом читает вслух.

Поэтессе Валентине Твороговой, как мне кажется, удалось в своем переводе передать

не только содержание, но и дух того стихотворения.

### Окутал Испанию дым

Вы слышите: пушки  
грохочут.

Окутал Испанию дым.

Вы слышите голос

рабочих:

«Товарищи, мы победим!»  
Вперед выступают отряды,  
Земля под ногами горит.  
Сражаются интербригады,  
Собой заслоня Мадрид.  
Мы тоже в октябрьские бунты  
Шагали, оружие сжав.  
В нас слали проклятья

и пули

Четырнадцать злобных

держав.

Но мы победили.

И знайте —

Мы с вами сегодня в бою.

Сюда, под испанское

знамя,

Я вместе с друзьями

встаю.

Не зря в адыгейском ауле

Нам снится далекий

Мадрид.

И слово твое, Ибаррури,

Над всею землею звенит.

Мы в ваших бригадах

боролись,

Шагали сквозь пули

и дым.

Мы слышим твой голос,

Долорес:

«Товарищи, мы победим!»

Сижу, словно замороженный. Кажется, буд-то это не Хусен, мой друг, говорит, а Хатит,

герой гражданской войны. Мужественный, зрелый голос.

Я рад, что у меня такой друг. Рядом с ним чувствую себя уверенней, спокойней, тверже.

Это же ощущение во мне и сегодня. И поэтому говорю своим друзьям: не обижайтесь, но мне его не хватает.

Чтобы побыть с ним, начинаю эту книгу, мою первую книгу прозы. Книгу мыслей о Хусене. Воспоминаний о Хусене. Фактов и документов о Хусене. О Хусене и его звонкой душе, манившей к себе, словно колокольчик в лесу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Адыгея — маленькая страна. В нашей стране полторы сотни аулов, сел и станиц, один не очень большой город и ни одной большой реки. У нас нет Немана или Днепра, даже Кубань едва-едва задевает.

Но через каждый аул проходит какая-нибудь своя речушка, берущая начало в недоступных ущельях кавказских предгорий. Ранней весной эти речушки превращаются в бурные потоки, стремительно уносящие на своем гребне все, что попадает на пути. Они слышны издалека. Шумя галькой, ворочая оторванные от прибрежных скал гранитные глыбы, урча и подывая, словно разбушевавшийся зверь, они стремятся вперед к Белой, к Кубани, к морю.

Но вот растаяли снежные папахи на дальних вершинах, миновала пора весенних ливней и гроз, и реки наши начинают скудеть. В самые жаркие месяцы их спокойно переходят

вброд дошкольники. В июльскую жару в них утра забредают коровы, да так и стоят там по колено в воде, пока пастухи не погонят их на пастбище.

Осенью дожди снова наполняют наши реки буйной силой: порой они выходят из берегов, заливая долины, нанося в поймы благодатный, считающийся самым ценным удобрением, желтоватый с прозеленью ил.

Должен, впрочем, признаться, что утверждение, будто у нас нет своего Немана или Днепра, верно лишь с точки зрения формальной географии. Для каждого из аульчан наш родной Афипс, Фарс или Пшиш, Курджиис или Шехурадж — то же, что Енисей для сибиряка, Амур для дальневосточника или Дон для казака. Мы с Хусеном нередко всерьез спорили, чья река лучше — мой Афипс или его Шехурадж. Мы не жалели красок для возвеличения своих рек. После каждого спора они становились все шире и полноводней: и рыбы в них водились такие, что втроем не вытащишь, и волны они разгоняли огромные, как дом, а уж если разольются, то заливают все вокруг до самого Майкопа.

Как-то Хусен побывал у меня в гостях.

— Афипс — славная река, — признал он. — Но все же Шехурадж... Вот увидишь... В нем есть что-то такое, чего нет у Афипса.

Я побывал на Шехурадже. Берега его покрыты той же галькой, заросли тем же лозняком, что и Афипс, только были более пологими, ближе к ним подступали колхозные поля и пастбища. Я вспомнил стихотворение, которое мне когда-то прочитал Хусен. Написал он его в четырнадцать лет.

Э-ге-гей! Шехурадж!  
Ты узкая и мелкая река,  
Но ты, пробираясь по камням и скалам,  
Несешь свои воды в Лабу.  
Э-ге-гей, Шехурадж!..

Как будто разница небольшая между нашими реками, а вот не придет же ему в голову воспеть речку, протекающую в соседнем ауле. Как, впрочем, и любому поэту.

Значит, дело тут не только в цвете воды, стремительности течения или в крутизне берегов; и не в том дело, ловятся в той речушке окуни или пескари. Все это не имеет ровно никакого значения для того, кто рос здесь под шум ее всплесков.

Тогда уже я понимал: родная река или родной дом пахнет материнской ладонью, манит, словно отцовский взгляд. Любил Хусен свою семью, мать, отца, братьев, сестренку, но говорить или писать об этом, как истый адыг, стеснялся; и вот название реки стало синонимом имен его близких.

Когда я впервые приехал к нему, его аул назывался Хакуринохаблем. Это был очень зеленый аул с веселыми петухами и цветными черепичными светло-желтыми, как шиповник, красными жестяными и золотистыми соломенными крышами.

В центре аула большая площадь: слева, за оградой, — массивное одноэтажное здание на высоком фундаменте, с широкими ступенями. Оно стоит в глубине сада. По отношению к улице это здание поставлено не в фас, а в профиль, и ступени эти, как бы прислоненные к зданию, походили на маленькую египетскую пирамиду. В нем было когда-то аульное управление.

— Вон там, — Хусен указал на эти ступени, — белогвардейцы зарубили Моса Шовгенова.

Мос Шовгенов! Это имя волновало наши сердца, как и имя Махмуда Хатита. Большевик, соратник кубанского революционера Яна Полуяна, признанный вождь адыгейских трудящихся, Шовгенов пришел в большевистскую партию задолго до Октября. В революции участвовал вместе со своей женой Гошевной Шовгеновой. Был первым народным комиссаром Советской Кубани по делам национальностей.

Во время наступления Деникина Кубанский крайком партии оставил Моса и Гошевную в тылу врага. Мос заболел и вынужден был укрываться в ауле. Предатель выдал большевика белым, Моса схватили, привезли в Хакуринохабль. В том здании со ступеньками размещался штаб белогвардейцев. Когда по аулу прошел слух, что привезли Моса Шовгенова, люди начали сбегаться к штабу. Но белляки не стали ждать — зарубили его тут же на ступеньках.

Потом узнал: Хусен записывал рассказы земляков и о Мосе Шовгенове.

Мос Шовгенов и Махмуд Хатит — это были его идеалы. Одно время его смущали в рассказе о гибели Моса обстоятельства расправы. Он допытывался: «А люди что? Стояли?» Старики, которого он расспрашивал, закрывал глаза, припоминал все в мельчайших деталях. «Люди попытались спасти. Но их отделяли от Моса белогвардейцы. Понимаешь? Его даже не допрашивали, Едыгов взмахнул шашкой, и все... Понимаешь? Секунды... Если б хотя бы минуты были. Привезли и прикончили...» Он

шел к другим старикам, расспрашивал их, сопоставлял услышанное. Убеждался: аул не виноват. От этого ему становилось легче.

К Хакуринохаблю примыкает Мамхег. Их разделяет шумный Фарс. В Мамхеге выстроили большую светлую школу, и почти все ребята из Хакуринохабля учились там.

Хусен окончил Мамхегскую школу и оттуда был направлен в Адыгейское педагогическое училище, находившееся тогда в Краснодаре, где мы и встретились.

Отец Хусена, Бореж Андрухаев, встретил нас какой-то шуткой, и я сразу почувствовал себя в их доме очень хорошо. За обедом старался незаметно рассмотреть его, но запомнил только руки — большие, с темноватыми и синеватыми, словно вздувавшимися венами и шероховатыми, огрубевшими ладонями. В честь нашего приезда отец Хусена зарезал овцу. «Отдыхайте, дети, — сказал он. — Набирайтесь сил».

Конечно, мы не сидели без дела, старались помочь Борежу. Как я рад, что довелось мне повидать его на работе. Он шел с косой, как сказочный богатырь. Взмах — и несколько сажень луга скошено, и трава лежит ровно, будто строчка в книге. Сразу же должен оговориться — взято это не из Есенина. Я тогда не знал стихотворения великого русского поэта «Я иду долиной». Помните эти удивительные строки? «Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки, хорошо косою в утренний туман выводить по долам травяные строчки, чтобы их читали лошадь и баран».

Сравнение с книгой, со строчками, как это ни неправдоподобно, пришло на ум малогра-

мотному Борежу. Мы, разумеется, косили вместе с Борежем. Колхоз «Абадзах» («Абадзах» — одно из адыгейских племен) тогда выделял сенокосные участки лучшим работникам.

Когда мы присели в тени степного тополя на отдых, Бореж, оглядев луг, хитровато прищурился. Потом, подбирая слова помягче, сказал:

— Дети мои, по вашей работе в поле даже я, не особенный грамотей, могу сказать, что вы — поэты.

По-адыгейски, впрочем, это могло означать и «стихоплеты».

Хусен, хорошо знавший своего отца, догадался, что за этим вступлением последует какая-нибудь неожиданность. Я же, ничего не подозревая, самодовольно улыбнулся.

— Как же это вы смогли узнать? — заинтересовался я.

— По строчкам, дети мои, — уже серьезно сказал Бореж. — На лугу ваши строчки, как и в газете, — одна больше, другая меньше, а третья совсем маленькая.

— А ты, отец, прозаик, — расхохотался Хусен, очень довольный меткой и тонкой шуткой отца. — У тебя строчки — одна в одну, как у знаменитого ашуга Джанчата Куйнеша.

Мать Хусена Кутас унаследовала от своих родителей огромное богатство — она знала сотни адыгейских сказок. Ее память была хранилищем адыгейского фольклора, значительной части нартского эпоса и постоянно пополнялась произведениями ашугов о современности. Удивительно ли, что в такой семье выросло двое литераторов. Ведь и сестра Хусена Аминет пишет. Ее пьеса «Великое испытание»,

посвященная Великой Отечественной войне, опубликована и несколько раз передавалась по радио.

Потом я много раз приезжал на родину Хусена — уже после его гибели, — долго бродил по кривым улочкам Хакуринохабля и Мамхега, беседовал с его матерью, сестрами. Был здесь и в тот день, когда Хакуринохаблю присвоили новое имя — аул Шовгеновский. Бывал и позже. И сейчас, рассказывая о семье Хусена, я не отделяю то, что узнал в свой первый приезд, от того, что увидел в последующие. Не отделяю, да, но все же нахожусь под его впечатлением, так как самого Борежа мне уже больше повидать не пришлось — не выдержал старик горя, свалившегося на него в дни войны, умер. И сейчас звучат в моих ушах слова, которые он сказал нам, подросткам, на прощание:

— Дети мои, друзей моего Хусена я люблю, как своих сыновей. Вижу, вы сдружились, как братья, выросшие под одной кровлей. Все эти дни я приглядывался к вам и скажу откровенно — очень доволен, что у вас такая бескорыстная дружба. Вы почитаете старших и печетесь о младших без напоминания, а это — очень важно, ибо чего стоит забота, которую выпрашивают, или уважение, которое выколачивается чалкой. И я рад, что мне нет нужды напоминать вам некоторые важные для всех истины. Старость каждого зависит от него самого, от его поведения, отношения к другим. Ведь не даром говорят: один человек — клей для другого... Эта мудрость проверена жизнью. Ступайте по жизни рука об руку, держась вместе и в счастье и в беде, и путь ваш тогда бу-

дет радостным и благородным. Не скажу — легким. Но более легким, чем если вы будете шагать врозь. Избегайте опрометчивых решений, цените превыше всего трудолюбие и терпение, помните, что грубость и невоспитанность унижают человека. Вы молоды, ваше счастье — на вашем жизненном пути, оно впереди. Хотелось бы, чтоб вы знали, что жизнь строится не по заранее намеченной схеме, в ней многое происходит не так, как хочется. Человека подстерегают трудности, опасности. Вы стойте, если будете опираться друг на друга, если своевременно протянете руку тому, кто споткнется. Как на сенокосе, любое дело покажется легче, если его делать сообща. И вся жизнь тогда радостней и интересней...

Некоторые выражения его я привел в буквальном переводе. «Один человек — клей для другого» — в понимании адыгов это означает, что люди связаны между собой крепкими, неразрывными нитями, что жизнь не терпит индивидуалистов, эгоистов. И особенно поразило меня его меткое замечание о том, что жизнь не строится по заранее намеченной схеме. Но в тот день я не придавал ему особого значения, как и другим замечаниям, а все от слова до слова запомнил скорее всего благодаря привитому мне с детства уважению к старшим. Так бывает со стихами. Выучишь в третьем или четвертом классе стихотворение, точнее, выубришь его и отбарабанишь учителю. Больше, казалось бы, оно уже тебе не нужно. Но проходит год-другой, а то и больше, и ты вдруг повторяешь давно заученные строки и тебя бросает в дрожь от радости — только теперь начинаешь понимать их красоту, постигать их муд-

рость и силу. До всего надо дозреть. Так и с тем напутствием Борежа. Оно вспомнилось мне в день, когда я узнал о героической гибели Хусена, вспомнилось так, словно я читал его с листа. Звучало в ушах, словно старый Бореж повторял его снова. И я записал его слова, и с того времени взял себе за правило записывать все умное и полезное, что услышу от людей, — правило, которым сам Хусен руководствовался еще со школьной скамьи.

Хусен гордился своим отцом. Как-то он признался, что речь отца, с которой он обратился к нам, — единственная, которую Бореж произнес за свою жизнь. Обычно старик ограничивался короткими репликами и до смерти боялся не только сентиментальности, но даже мало-мальски откровенного проявления чувств. Как-то Бореж тяжело заболел. И сразу выяснилось, что у него много друзей. Они, по обычаю, собрались у его постели, пытаясь развеять, приободрить больного. Он очень расстрогался и ужасно боялся, что друзья это заметят — подобные чувства, как он понимал, не украшают мужчину. И он лежал, закрыв глаза, не глядя на верных друзей. Один из них сказал Борежу:

— Послушай, приятель, мы знаем, что ты очень болен, но можно же посмотреть на своих гостей.

Бореж глубоко вздохнул и отделался шуткой:

— Рад бы это сделать, да зачем? Ведь вижу я только вас, а вы мне и так уже давно надоели.

Мать Хусена Кутас — из рода Аутлевых. Замуж за Борежа вышла, когда ей было восем-

надцать лет. С ней мне приходилось после войны встречаться много раз. Умерла она в 1957 году. Это была умная, рассудительная, очень душевная женщина, хорошо знавшая историю своего народа. Она родила шестерых детей. Первенцем в их семье был сын Хасан. Кроме Хусена и Хасана, у Борежа и Кутас были сыновья Раджеб и Гид, дочери Довлетхан и Аминет.

Кутас целиком посвятила себя семье, воспитанию детей, строго следила за тем, чтобы между детьми царил мир и согласие, чтобы справедливость не нарушалась ни под каким видом. Это была мать в самом высоком понимании этого слова. Если кто из детей ушибет руку, у нее заболит рука; она может вскрикнуть от боли, если один из них загонит в ногу колючку или, споткнувшись, упадет.

Жили небогато. Рубашку, которая становилась тесной Хасану, она перешивала Хусену, потом ее донашивали остальные сыновья. Сама Кутас ухитрялась переделывать детям и обувь. Старшие помогали ей. И я не раз видел, как Хусен сам чинил в общежитии свою одежду и ботинки. Он считал это вполне естественным. Однажды какой-то парнишка осторожно поддразнил Хусена: занимаешься, мол, девичьим делом. Другой бы, воспользовавшись физическим преимуществом, мог внести ясность с помощью подзатыльника, но Хусен не признавал никакого неуважительного отношения к товарищу, а тем более рукоприкладства.

— Запомни, будущий учитель, — спокойно сказал он, — что у работы нет пола. А такому, как ты, нужен хороший аталык.

Аталык — это воспитатель, которому адыгейские дворяне когда-то отдавали на воспитание своих детей. Он обучал их всему, что пригодится в жизни, а главное — умению стойко переносить трудности, быть мужчиной.

Размышляя о жизни в семье Андрухаевых, я пришел к выводу, что приобретенным смолоду мужским достоинством Хусен обязан не только отцу, но и матери. Кутас — замечательная рассказчица, в русском понимании — сказительница. По вечерам, когда дети, набежавшись, возвращались домой, она рассказывала им о мужестве Хатхе Кочаса, о мудрости Коджебердука Мхамете, о товариществе черкесов-нартов. Однажды Кутас сказала:

— Когда я рассказывала о нартах, Хусен светлел. Мужество, стойкость — как это его волновало. Но ты знаешь, Киримизе, и остальные сыновья загорались, слушали... Они были такие же смелые, только-то, что не писали...

Голос ее дрогнул, лицо потемнело, но Кутас тотчас же взяла себя в руки. Легко ли ей было — пусть судит читатель. Одно за другим получила она три «черных письма» — первое — о гибели Хусена, второе — о гибели Раджеба, третье — о гибели Хасана... Третье известие сразило измотанного горем Борежа, и Кутас одна осталась хранительницей рода. Удивителен и необычен строй ее мыслей. Иной раз тоска по сыновьям гнала ее вон из аула, и она шла к людям, которых они любили. Помню, как-то она приехала в Майкоп вместе со старшей сестрой Хусена Довлетхан\*.

\* Довлетхан умерла в 1959 году.

— Я увидела во сне Хусена, — сказала она после обычных приветствий. — Мне приснилось, будто он хочет есть, просит индейку по-адыгейски. Я проснулась и не могла больше спать. Ты не обижайся, Киримизе, я привезла индейку и хочу приготовить ее тебе. Ты друг моего сына, если ты будешь есть то, что любил он, я буду считать, что это ест мой сын. Ведь он тебя любил.

Когда я пришел с работы, Кутас уже все приготовила. Мы сели обедать. Она глядела, как мы с женой и сыновьями едим, и тихо улыбалась, а я дивился ее мужеству: ведь даже мне, мужчине, с трудом удавалось в тот момент сдерживать слезы. В тот вечер она показала мне последнее письмо Хусена — короткое, нежное, сильное, полное веры в победу.

К сожалению, оно не сохранилось: кто-то из журналистов или местных историков взял его у Кутас «на денек» и не вернул. Помню его почти дословно. Хусен писал его в начале ноября, за несколько дней до гибели, а получили его, когда он уже совершил свой бесстрашный подвиг. Но об этом в ауле узнали не сразу. Он просил мать и отца беречь себя, не тревожиться о нем, «Меня пули и осколки обходят стороной, и я уже их не боюсь». Он писал о дружбе, которой спаяны люди его роты, о их смелости, стойкости: «Я здесь увидел то, что сильнее фашистских танков и самолетов: нашу сплоченность. Здесь все за одного, один за всех, а все вместе — за нашу дорогую Родину: она одна у адыгов, и русских, и всех, кто бьется с фашистской гадиной».

Ночью написал стихотворение «Письмо». Вот оно:

Это письмо пришло давно,  
Листки его пожелтели.  
Обернуто в шелк, лежит оно  
У изголовья ее постели.  
Окончив работу, седая мать  
Бережно шелк развернет  
И будет письмо, волнуясь, читать  
(И так ежедневно — десятый год).  
Это письмо ей дороже всего  
(Дрожит от волнения рука).  
Оно от сына ее, а его  
Сразила пуля врага.  
Особенно место одно там есть,  
Его перечитывает она:  
«Жизнь дорога, но дороже честь,  
И жизнь, и честь у меня одна.  
И я обещаю среди огня  
напутственных слов твоих не забывать,  
что ближе родившей меня  
только Родина-мать.  
Дороже жизни ее родня,  
а нынче они в огне.  
Но пусть от разрывов дрожит земля,  
не дрогнет сердце во мне...»  
Давно уж сына на свете нет,  
а все-таки жив ее сын:  
глядит со стены его портрет —  
прекраснейшая из картин.  
Не только в доме его родном,  
не только родная мать —  
земля родная будет о нем  
каждый раз вспоминать.  
И пусть проходит за веком век —  
не смолкнет о нем молва.  
До той поры живет человек —  
пока о нем память жива.

Вернусь, однако, к нашему разговору в ауле.

— Они были такими старательными, — пряча глаза, добавила она. — Возьмешь их с собой на огород, стараются все получше сделать. Любили землю. У нас был маленький

приусадебный участок, и нам выделили немного земли на берегу Фарса. Хусен всегда ходил со мной туда — очень любил деревья сажать и ухаживать за ними.

Вспомнились эти слова Кутас совсем недавно, и отправился я на берег Фарса. Они цвели, яблони и вишни, посаженные матерью и сыном, Кутас и Хусеном Андрухаевыми. Они цвели, плодоносили, и люди пользовались их плодами, даже не подозревая, чьи руки взрастили этот сад.

Если Бореж славился в ауле своим трудолюбием и постоянной готовностью помочь товарищу, соседу, каждому, кто в этом нуждается, то за Кутас закрепилась слава одной из лучших поварих в ауле. Когда шовгеновцы сообща отмечали какой-либо праздник, Кутас приглашала стряпать для общества. Ее четлибж узнавали, едва попробовав; как узнают по первому же аккорду известного музыканта.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После войны я начал писать стихи для детей. Почему — объяснить не смогу. Мысль об этом созрела где-то подспудно и вылилась в строки. Мне хотелось, чтобы дети с самого раннего возраста находились в атмосфере, если так можно выразиться, «большой политики» — чувствовали свою связь с другими людьми, всей страной, понимали, как говорил Бореж, что «один человек — клей для другого».

Воспитывать надо на примерах. И мне захотелось узнать — каким же был Хусен Андрухаев в детстве. Без прикрас, без румян и бе-



лил. Для того чтобы узнать, из каких же ребят вырастают подлинные герои. Каким он был в отрочестве и юности, я знал хорошо. В четырнадцать-пятнадцать лет, когда мы поближе познакомились, это был веселый, свойский парень, мгновенно овладевавший вниманием окружающих. В кругу мальчишек он не старался казаться серьезным. Он учил нас двигать ушами, натягивать на лоб козырьком кожу головы. Мы, конечно, освоить это не сумели, но дивились его умению. Рассказывая что-либо смешное, он даже не улыбался. Зато его слушатели покатывались от хохота.

Каким же он был в детстве? Лучше всех это знала Кутас, но расспрашивать ее было неудобно. Я все ждал случая, когда само течение беседы наведет ее на эту тему. И однажды Кутас, глядя на шнырявших за окном ребятшек, сказала:

— Самые озорные напоминают мне Хусена. Не было дня, чтобы он не придумал какую-нибудь шутку. У нашего крыльца, неподалеку от ворот, стояла летняя печка. Однажды вечером смотрим — корова и овцы, которых подогнал ластух к воротам, стоят на улице как вкопанные, с испугом оглядываются, вот-вот повернут назад.

Что случилось, чего они могли испугаться? Я остановилась у крыльца и услышала устрашающий рев. Он исходил от летней печки, дверца которой была открыта. Подойдя поближе, я заметила за ней измазанную физиономию Хусена. На меня он не обратил внимания, но когда к печке стал подходить отец, Хусен выскочил из нее и спрятался.

Под кроватью в детской спальне стояли

комнатные туфли. Они были ничьи, общие. Надевал их обычно тот, кто вставал первым, — так уже установилось, — остальные в любую погоду ходили по дому и по двору босиком. Хусену комнатные туфли никогда не доставались, так как он любил утречком поваляться в постели. Но пощеголять в них хотелось. И вот как-то, когда братья уже улеглись, Хусен вынес шлепанцы из дому и припрятал во дворе. Первым на следующее утро встал Хасан. Не найдя туфли на обычном месте, он растолкал Раджеба, потом Гида. Никто не знал, где туфли. Тогда разбудили Хусена. Он сделал вид, будто ничего не понимает, и его оставили в покое. Перевернувшись на другой бок, снова заснул. Спустя час поднялся и, достав из тайника туфли, стал заниматься своими делами.

У нас нередко случалось так, что все — отец, я, сыновья, дочери — были чем-либо заняты, взрослые — в колхозе, младшие — в школе. В такой день Хусен однажды пришел домой раньше всех. Пошарил, где мог, но ничего съестного не нашел. Потянув носом, он догадался, что соседи что-то жарят. Жили мы с соседями дружно, и Хусен мог бы без стеснения зайти к ним перекусить. Но просто так попросить есть — разве он на это пойдет? Отправившись к соседям, он увидел, что старушка жарит шаламэ — чудесные лепешки. Облизнувшись, Хусен поздоровался с ней.

— Ты что-то хотел, сынок? — спросила его старушка.

— Да ничего, — потупился он. — Хотел сказать, что у нас сегодня произошло что-то невероятное. Но ты занята.

— Что же такое приключилось у вас? —

заинтересовалась старушка — большая любительница аульских побасенок. — Говори, я могу и жарить и слушать.

— Наш кот сегодня заговорил, — сообщил Хусен, весело прищурившись.

— Что же он сказал?

— Я очень голодный, а на голодный желудок никакие рассказы не идут, — признался наконец Хусен.

Соседка поставила перед мальчиком тарелку с горячими шаламэ. Съев их и запив водой, Хусен поблагодарил и собрался было уходить.

— Что же ты, сынок, уходишь, так и не сообщив мне, что же сказал ваш кот, — напомнила старушка. — Что он мог такое сообщить?

— Наш кот всегда говорит одно и то же, — вполне серьезно ответил Хусен. — Сегодня он сказал то же, что и всегда: «Мяу».

— Только и всего? — разочарованно протянула старушка.

— А чего еще можно ожидать от нашего кота? — усмехнулся Хусен. — Он ведь неграмотный.

— Значит, ты обманул меня и съел целую тарелку шаламэ, — наконец-то догадалась старушка. — Но пусть на здоровье. Здоровья тебе за твою находчивость и за остроумие. Разве не могла я сама догадаться, о чем с тобой разговаривал кот.

О детских годах Хусена сохранила много теплых воспоминаний его сестра Аминет.

— Во всех наших играх, — рассказывает она, — Хусен был заводилой и душой. Даже традиционные игры он всегда поворачивал по-своему, обогащал, делал более интересными. И сейчас не понять — откуда и брались все те

выдумки, ведь он дальше соседского плетня нигде не бывал. Тянуло его к представлениям, всегда что-нибудь забавное выкинет. Играем, бывало, вдруг он сорвет с меня платок и закутается. И таким становится смешным, что мы покатываемся от смеха. Мать выйдет: «Так и знала, что Хусен с вами играет...»

Жила по соседству с нами вдова Куако. Когда ее сын уезжал, она боялась оставаться одна в доме. Закончив с домашними хлопотами, она приходила к нам и брала к себе кого-нибудь из нас, но чаще всего веселого Хусена. Хусен не мог отказаться от этого, но очень скучал по дому, по материнским сказкам, по братьям и сестрам. Однажды ее сын уехал надолго, и вдова приходила за Хусеном каждый вечер в течение недели или двух. Он покорно уходил из дому. И вот в такой вечер, когда соседка, уложив Хусена, начала делать намаз, то есть молиться на циновке, с кровати Хусена донеслись стоны. Прервав молитву, старушка бросилась к мальчику. «Что с тобой, сыночек мой дорогой?» Хусен лежал, скорчившись, из груди его вырывались слабые крики. «Маленький мой! — совсем растерялась вдова. — О, аллах, что мне делать!»

Она побежала за Борежем, но Хусен оставил ее.

— Куако, не зовите отца, мне уже лучше, — сказал он. — Боли в желудке прошли.

— Ну, раз так, — обрадовалась старушка, — давай я тебя отведу домой. Мне с больным еще страшнее, чем одной.

Хусен сжалился над женщиной, сказал, что чувствует себя хорошо, даже добавил, что пошутил, но старушка не поверила:

— Я ведь видела, что тебе плохо. Пошли, пошли...

Его тянуло к взрослым. После уроков он убегал в поле, помогал отцу, а чаще всего — трактористам. В это время и обнаружилась у него тяга к стихам. По вечерам он стал много писать и записывал стихи, происхождение которых было неизвестно. Первой догадалась, что он пишет, мать, Кутас: «Он их выдумывает сам! О, аллах, наш сын станет ашугом!»

Это произошло раньше чем она могла предполагать.

Приезжая на каникулы из педучилища, Хусен работал за столом до глубокой ночи. Кутас заглянет к нему, пожалеет.

— Отдыхай, мой Хусен, ты ведь устал. Успеешь и завтра написать. Что это с тобой? Ложись спать, а потом опять встаешь, пишешь?

— Бывает и так, нан, — улыбается Хусен. — Но я не устаю. А ты устаешь, ведь весь день на ногах. Садись, не беспокойся.

Усадит ее возле себя, поделится мыслями, которые никому не высказывал. От нее у Хусена не было никаких тайн. Он читал ей стихи, написанные под влиянием рассказов о тяжелой судьбе адыгов до революции. Слушая их, мать утирала слезы. И как-то сказала:

— Хорошо все это описано. Но ведь прежних трудностей у нас нет и в помине. Смотри, как хорошо мы сейчас живем. Когда ты читаешь о прошлом, сердце сжимается от боли. Читай о нашей новой жизни, пусть оно бьется сильнее от радости.

В погожие дни Хусен любил работать под вербой, разросшейся в центре их двора. Как-то

днем, когда Хусен, сидя под вербой, читал, налетел сильный ветер. Ветер опрокинул гнездо, из него посыпались галчата. Часть их разбилась, остальные тоненько попискивали. К ним бросился дворовый пес, но Хусен, отогнав его, подобрал птенцов. Когда ветер утих, он полез на дерево, поправил галочье гнездо и водворил незадачливых путешественников на место.

Детство Хусена почти ничем не отличалось от детства его сверстников, от детства мальчишек, которые перед войной становились подростками, юношами. В нашей памяти свежи были картины страшного прошлого, наступление новой жизни проходило через наши дома, ломая старые, отжившие устои, вторгаясь в наши личные дела, формируя по-своему наше мировоззрение. Старое вступало в конфликт с новым не только в нашем присутствии, но и с нашим участием. Мы с восторгом впитывали в себя наследие, оставленное революцией, и понимали: нам предстоит не только достроить то, что стоит сейчас в лесах, но и отстоять стройку от нашествия фашизма.

Все это — не фразы. Это — наша жизнь в 1935 и 1936 годах. Угроза войны была настолько реальной, настолько близкой, что ее ощущал каждый юноша. А уж такой впечатлительный и мыслящий, как Хусен, — особенно остро. Детство его перекинуло добрый мостик в отрочество, которое, думается мне, было необычно коротким. Озорство уступило место раздумьям. Быстро пришла зрелость. Хусен, каким я помню его, уже на первом курсе педагогического училища отличался пониманием своей ответственности.

Попытаюсь объяснить эту мысль. Хусен на-

рочито, из самолюбия не выдвигался, не выпирал вперед, не отталкивал товарищей. Ради товарища он был готов на многое. Но вместе с тем он очень принципиально относился к нарушителям. «Нас здесь кормят, поят, одевают,— сказал он как-то на комсомольском собрании,— требуя от нас одного: чтобы мы хорошо учились. Значит, тот, кто плохо учится,— дармоед. Пусть уступит место другому».

Весельчак, шутник, он придерживался правила, что всему свое время. Старшекурсникам педагогического училища, особенно комсомольцам, частенько поручали различные дела, не связанные с учебой,— ремонт здания, уборку кукурузы или овощей. Обычно Хусена назначали бригадиром, и уж тут-то туго приходилось тем, кто пытался увильнуть от работы. Как-то нам поручили перестлать пол в кабинете физики. Плотницкая бригада под руководством Хусена взялась за дело. Большинство ребят трудились добросовестно. Но трое повели себя не по-товарищески: под всякими предложениями отлынивали, после обеда запаздывали, норовили первыми уйти на ужин. Замечания, брошенные вскользь, не помогали. Не оказывали никакого воздействия на лодырей и прямые разговоры в своей среде. В те дни как раз состоялось комсомольское собрание. Хусен покритиковал лодырей в присутствии всех.

— Наши родители работают и в зной, и в стужу,— помнится, сказал он,— чтобы мы хорошо учились и стали настоящими людьми. А вы что делаете? Разве вам можно поручить что-нибудь серьезное?

— Мы учимся не хуже тебя,— бросил реплику один из этих троих.

— Это верно,— ответил Хусен,— учитесь вы неплохо. Но чему сможете научить своих учеников, как люди? Тому, как увильнуть от общего дела? Кому нужны такие педагоги? Один раз попросили вас поправить пол в кабинете, в котором сами же и занимаетесь, и то увильваете. Скажите же сами, можно ли будет на вас положиться в серьезном деле? А ведь такие дела — не за горами.

Однажды, накануне выходного дня, директор училища велел объявить по группам: в воскресенье все поедут в колхоз аула Козет на уборку помидоров. Вечером нас выстроили во дворе училища. Директор сказал:

— Завтра подъем в пять утра. Позавтракаем и — за Кубань. Надо выйти на работу одновременно со всеми колхозниками, пусть ваши отцы и матери не думают, будто вы тут растете белоручками.

Хусен был назначен командиром отряда. Когда нам выделили участок, он обратился ко всем с вопросом:

— Как, хлопцы, обгоним?

— Обгоним! — поддержали мы.

К обеду мы действительно вышли на первое место, и это было отмечено в бюллетене, который был прочитан за обедом.

После обеда нас начали догонять другие отряды. Все решили поднажать еще сильнее. Лишь одна девушка, Кара, все больше поглядывала в зеркальце. Стоит, любит себя, а на замечания даже не отвечает.

И тут я впервые увидел Хусена всплывшим. Он подошел к Каре и спросил, почему она отстаёт от других.

— Пусть скажут спасибо, — нахально ответила она, — и за то, что я уже сделала.

Хусен побледнел.

— По-твоему, выходит, что мы тут все делаем колхозникам великое одолжение. Но когда ты садишься в столовой за стол, ты не думаешь о том, что борщ приготовлен из овощей, которые для тебя вырастили колхозники. Выходит, их обязанность — кормить тебя вкусным борщом, а твоя — глядеться в зеркальце, смотреть, какой красивой ты становишься от этого борща. Твои родители бы сквозь землю провалились, если бы увидели, как ты работаешь.

Должен сказать с удовольствием: помогло! Кара от обиды заплакала, но показала, что умеет собирать овощи не хуже других. И еще Хусен считал личный пример. И словами, и делом убеждал.

С особой пристрастностью относился он к обязанностям по защите нашего Отечества. Я уже отмечал, что мы далеко не лишние деньги тратили в тире. Хусен не раз говорил со мной о том, как будет служить в армии.

Помню, в газетах был опубликован Указ правительства о присвоении звания Героя Советского Союза летчикам и танкистам за выполнение специальных заданий и проявленное при этом мужество. Мы догадывались, что эти герои совершили свои подвиги в Испании. Хусен долго сидел, склонившись над газетой. Мы с Аскарби Ешевым стояли рядом.

— О чем задумался, Хусен? — спросил Ешев.

— По правде? — улыбнулся Хусен. — Если по правде, то скажу: хочется совершить что-

нибудь такое, что прославило бы Родину. Какое это великое счастье — заслужить звание Героя Советского Союза.

И, естественно, его мечты вылились в стихи.

### Честь

Честь не урони,

не орами нас! —

Мать мне на прощанье говорит.

— Славою и счастьем полной мерой

Родина джигита наградит,

Будь всегда во всем,

Мой сын, примером! —

Так отец, прощаясь, мне велит.

Отставать адыгу не пристало!

Я клянусь вам, и отец и мать, —

Научусь во что бы то ни стало

Я по-ворошиловски стрелять,

И еще клянусь своею жизнью

Защищать народ свой и любить,

И врагов, затронувших Отчизну,

Буду по-буденновски рубить.

Всем желаю, радостно волнуясь,

Весело трудиться, мирно жить —

Ведь за это с гордостью иду я

В Армию Советскую служить!

Он готовил себя к защите Родины, был готов ко всему, не строил иллюзий относительно легкой победы. Понимал, что схватка с фашизмом будет кровавой и беспощадной. Многих удивило, что очень способный поэт пошел не в университет, а в военно-политическое училище. Но мы, его близкие друзья, приняли это как должное. В нашем представлении Хусен попросту не принадлежал сам себе, он всегда шел на самый важный и трудный участок. Потому и решил стать политработником. Но это было потом, перед самой войной.

Жили мы в те годы небогато. Обновками редко кто шеголял. Но были веселыми и доброжелательными. Вовремя протянуть руку товарищу, помочь ему так, чтобы он не чувствовал себя обязанным,— это лучше всех уметь делать Хусен.

Вспоминается эпизод на Краснодарском вокзале. Студенты в этот день разъезжались в аулы на каникулы. Группа девушек из Хакуринохабля поручила подружке купить для всех билеты. Пока она стояла в очереди у кассы, они потратили в магазине все деньги, которые у них оставались.

Закупив то, что требовалось и не требовалось, они возвратились к подружке. Нашли ее в слезах. Она всхлипывала, не поднимая глаз.

— Что случилось? Тебя обидели? — всполошились студентки.

— Не знаю, куда девались деньги,— призналась она.— Я их завернула в платочек, положила в левый карман. В очереди была толкотня. Двое парней пытались меня оттолкнуть, а потом ушли. А когда я подошла к кассе, в кармане денег уже не оказалось.

Девушки расстроились, и понять их было легко — где сейчас достанешь денег на дорогу?

На их счастье, к ним подошел земляк — Хусен. Он сразу увидел, что произошла какая-то неприятность. Они наперебой стали рассказывать о своей беде. Хусен не стал охать и ахать.

— Только и всего! — воскликнул он.— Сейчас найдем деньги на билеты. Пойдите тут и, пожалуйста, не ревите.

Хусен сказал, значит, можно не волноваться, это они знали. И стали спокойно ожидать.

Денег у Хусена, разумеется, тоже не было. Выйдя из здания вокзала, он снял с себя теплый свитер и тут же продал его каким-то незнакомцам. Торговаться не стал, лишь бы хватило на билеты. Сам же пошел за билетами в кассу.

Когда он появился перед девушками, помакивая билетами, они так и не заметили перемены в его наряде. Лишь в поезде одна из них сказала:

— Послушай, Хусен, ты, кажется, в свитере был?

— Забыл его в общежитии,— отмахнулся он.

Но к государственному имуществу Хусен относился с огромным уважением. Социалистическая собственность священна и неприкосновенна — вот из чего он исходил. И случилось же такое — в нашей собственной комнате пропала скатерть.

Последним об этой неприятности узнал Хусен, задержавшийся где-то. Вошел в комнату, взглянул на стол, потом обвел всех нас своим пронзительным взглядом. Мы все молчали. Хусен сел на табурет. Он был старостой комнаты, приучал нас содержать ее в чистоте и порядке. Уборщица лишь полила мыла, все остальное мы делали сами. Несколько дней назад нам, как образцовой комнате, выдали красивую новую скатерть. И вот ее не оказалось на столе. Мы были подавлены.

— Где же скатерть, хлопцы? — наконец выговорил Хусен.

Все молчали.

— Ладно, — вздохнул он, — пошли ужинать, потом разберемся.

После ужина мы все четверо возвратились в комнату. Хусен, видимо, все обстоятельно обдумав, сказал:

— Вот что, ребята. Мы все — будущие педагоги. Родители послали нас сюда с надеждой, что мы настоящими людьми станем. И вот у нас, будущих воспитателей, исчезают общественные вещи. Как это могло произойти?

Я пожал плечами, остальные двое тоже ничего не сказали.

— Смотрите, что получается, — продолжал Хусен. — Вчера к нам никто не заходил, уборщица тоже, где лежит ключ, знаем только мы. Значит, скатерть взял кто-то из нас. Зачем?

Сзади меня сидел Хамид. Он отчаянно вертелся на стуле, лицо его было красным.

Хусен поглядел на него.

— Ну, говори, Хамид, это ты сделал? — прямо спросил Хусен.

Хамид всхлипнул и, еще более покраснев, проговорил:

— Я отдал скатерть моей сестре.

— По какому случаю?

— Она привезла из аула пирожки, мне так захотелось сделать маме ответный подарок...

— Ты хоть теперь понял, что наделал? Что подарки можно делать из своего собственного кармана, а не из государственного?

Хусен долго беседовал с Хамидом. На следующий день на столе появилась новая скатерть: кто-то из них купил ее в магазине. Тогда я думал, что Хамид, теперь уверен, Хусен купил, а на стол положил Хамид.

В педагогическом училище очень хорошо

относились к начинающим литераторам. Авторам нашего рукописного журнала вскоре выделили в общежитии отдельную комнату. Это, конечно, не было связано с пропажей скатерти, об этом никто так и не узнал и, думается, не знает и по сей день. Жили в ней Хусен Андрухаев, Алий Хоретлев, Анатолий Хазаров и я. Мы никогда не мешали друг другу. Как-то я вернулся очень поздно. Войдя в комнату, сразу же подошел к графину, налил воды в кружку и с удовольствием выпил.

— С таким наслаждением ты пьешь воду, как будто только что плотно поужинал, — заметил Хусен, работавший тут же, за столом.

— Не угадал, Хусен, — ответил я. — За весь день так и не прикоснулся к пище. Никто не подумал, что я могу проголодаться.

Хусен поднялся, достал из тумбочки хлеб и мясо, протянул мне.

— Держи, — сказал он. — Я ведь уверен был, что ты вернешься голодным, и попросил для тебя кое-что в столовой.

Хусен считал нас всех братьями, много определения найти не могу. Он заботился о каждом. Уже тогда он печатался в областных изданиях, публиковал не только стихи, но и статьи. Если не было ни у кого особой нужды, в деньгах, он иногда угощал нас сладким, обязательно покупал книги и дарил их. Разумеется, покупал книги и для себя. С тремя книгами он не расставался — избранными произведениями Пушкина и Маяковского и очерками и фельетонами Михаила Кольцова.

Мы отлично понимали, что живем вместе с человеком незаурядным. Но сам он, я уверен, этого не понимал или, быть может, не пока-

зывал вида, что понимает — советовался с нами, выносил на наш суд свои новые стихи, очень считался с нашим мнением, подозрительно поглядывал, когда мы хвалили его. Но время показало, что наши оценки не были завышенными. Любое его стихотворение хоть сейчас издавай.

В 1946 году был собран и подготовлен к изданию первый сборник стихов Хусена на адыгейском языке, и тогда они звучали свежо, остро, зажигали людей. Недавно вышло в свет новое издание его произведений, и все снова убедились в том, что поэзия его полностью выдержала испытание временем. В 1971 году Андрухаеву присуждена премия Краснодарского крайкома ВЛКСМ имени Николая Островского. Вместе со значком и дипломом лауреата ее в первых числах февраля 1972 года вручили студентам Адыгейского педагогического училища имени Хусена Андрухаева. На вечер, посвященный этому событию, была приглашена и его сестра, Аминет. Живут его стихи и будут жить. Они уже и тогда выделялись. Сам же Хусен, повторяю, старался не выделяться из общей среды. А когда это делалось помимо его воли, чувствовал себя неловко.

Как-то утром в училище пришел работник Адыгейского областного отдела народного образования. Вызвав Хусена, он увел его с собой. Возвратился Хусен преображенный — весь в новом. Новый синий костюм, ботинки, рубашка, на руках — элегантное пальто. Даже шапка новая.

— В каком сказочном царстве ты побывал? — стали мы его расспрашивать.

— Облоно решил постепенно приодеть всех наших литераторов, — пояснил он. — Начали с меня, так как моя фамилия начинается на «а». Весь день ходили по магазинам. С шапкой вот только неувязка получилась.

Он насмешил нас рассказом о том, как искали шапку его размера и не могли найти и как инспектор облоно потащил его в мастерскую.

— Раз велено одеть с головы до ног, то без шапки нельзя, — сказал он.

Вот и сидели до вечера в мастерской.

Вдруг стал серьезным, спросил:

— Как думаете, не обидится Толя Хазаров, если я ему предложу пока что свой старый костюм и все остальное? Парень из детства, совсем обносился.

Толя, конечно, не обиделся. Не обиделись и мы, когда узнали, что в облоно я не собирался «приодеть всех литераторов», у него и средств таких не было, а купили одежду Хусену потому, что решили послать его на совещание молодых поэтов, чтоб выглядел там не хуже других.

Мне долгое время казалось, будто именно мы, студенты, жившие с Хусеном, развезжавшие с ним по аулам для записи фольклора, делившие с ним все радости и невзгоды, лучше всех знали, каков Хусен, а остальным это было невдомек. В самом деле, Хусен продолжал заботиться о нас даже после того, как мы, окончив училище, расстались. Как известно, Хусен после окончания педучилища работал в областной газете, а через год пошел в военно-политическое училище, получил звание младшего политрука и служил в одной из ча-



стей на территории Армянской ССР. Я же после училища был снова направлен на учебу — Краснодарский учительский институт. Материально мне было трудно, но я не унывал. Переписываясь с Хусеном, посылал ему свои новые стихи, получал толстые письма от него и с нетерпением ожидал выпуска, чтобы наконец-то приступить к работе. Питаться и одеваться на стипендию было не просто, и, конечно, вид у меня был не очень шикарный.

Накануне выпускного вечера вдруг получаю от Хусена перевод на 500 рублей. По тем временам это были немалые деньги, особенно для меня, студента.

«Мы с тобой, Киримизе, — писал он, — жили в общежитии в одной комнате, одновременно начали писать, вместе выпускали рукописный альманах «Первые шаги». Я бывал у вас в гостях не раз, ты тоже приезжал к нам. Коротко говоря, делились с тобой последним, жили как братья, ты тоже часто меня выручал. Деньги, которые я тебе высылаю, прими, как дар матери, даю тебе эту сумму от чистого сердца. Не забывай меня, и я тебя не забуду. Останемся братьями навсегда...»

Повторяю, мы, жившие с Хусеном в одной комнате, считали его безраздельно своим. Но вот разговорился я с товарищами, которые учились тогда с нами вместе, и вдруг понял, как мы заблуждались. Хусен никогда не был только «нашим», только литератором, всегда был в гуще жизни всего училища, всегда замечал, в чем нуждаются товарищи, и старался помочь им.

Недавно я разговорился с журналистом Исмаилом Хуажевым.

— Меня всегда удивляло, — сказал он, — что Хусен буквально никакого внимания не обращал на самого себя.

Это было верно. И я замечал, что Хусен очень непритязателен. Пропустит ужин — никому даже не намекнет, что голоден. Узнаешь об этом, предложишь что-нибудь — с удовольствием примет.

Стоило задуматься: почему же Хусен, постоянно помогавший другим, сам никогда ни за какой помощью не обращался? Ведь это могло быть и проявлением нездоровой черты — болезненного самолюбия, излишней гордости. Но ничего подобного за Хусеном никогда не замечалось. Все взвесив, пришел к выводу: он попросту не обращал внимания ни на какие мелкие неурядицы. Не поел — ладно, потом поем, не поставили «отлично» — что ж, надо подтянуться, и так далее. Он был выше житейских мелочей и фразу Маяковского о том, что гвоздь у него в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете, воспринимал не более чем шутку гения. Он понимал — гвоздь — это гвоздь, и не более. Нужно взять молоток и забить его. А Гете есть Гете, Маяковский, что бы ни случилось, как бы его шутки ни воспринимали, останется Маяковским. Его, как и Гете, никем не заменишь.

Кстати, о Маяковском. Это был, как и Пушкин, любимый поэт Андрухаева, Хусен мог на память читать многие его вещи.

А в 1938 году в клубе училища состоялся вечер, посвященный Маяковскому. Произошло это весной, кажется, в апреле, в распахнутые окна клуба доносился шум со двора. На трибуну поднялся Хусен. Обычно он читал свои

стихи негромко, а тут вдруг прокатилось, словно раскат грома:

— У портрета Маяковского!

Я об этих стихах Хусена ничего не знал и, когда он читал, испытывал некоторое чувство обиды: как, мол, даже мне не сказал. Но вслушался в стихи и отлегло от сердца. Такое и лучшему другу не следует читать — очень уж интимное. Только себе или — всем сразу.

Такой большой,  
плечистый и простой,  
Ты, Маяковский, смотришь  
со стены.  
Одни мы в этой комнате  
пустой,  
О многом мы поговорить  
должны.  
Твоя строка — как бомба  
для врага.  
Всех недругов разит  
твоя строка.  
Как самый острый  
штык, она грозна.  
Нас научила мужеству  
она,  
Нас научила гордости  
и силе.  
И так хочу я быть  
таким, как ты,  
Чтоб и мои стихи  
врага разили,  
А другу не жалели  
доброты.  
Как ты и Нетте —  
так я жить хочу.  
Чтоб жизнь была борьбою  
и гореньем.  
И пусть твои стихи  
плечом к плечу  
Стоят в строю с моим  
стихотвореньем.

После чтения ему в награду за стихи вручили библиотечку.

Когда мы с ним встретились в Краснодаре в 1940 году, он прочитал их уже в доработанном виде. Они звучали еще сильнее, и мне все казалось, что из национальных поэтов к Маяковскому ближе всех стоит малоизвестный адыг Хусен Андрухаев. Через тридцать лет мое мнение на этот счет не изменилось. Конечно, появились новые имена, родились новые таланты. Я же беру тот период. Вслушайтесь:

Как ты и Нетте —  
так я жить хочу,  
Чтоб жизнь была борьбою  
и гореньем!

Чтоб жизнь была борьбою и гореньем!  
Ведь это уже собственная декларация, а декларации не читаются друзьям, их провозглашают.

Декларации писали и сейчас пишут многие. Некоторые потому, что это модно, другие потому, что нужно. Они читают их на вечеринках, проталкивают в газеты и... нередко забывают о них, когда дело доходит до расчета.

И поэтому необходимо знать о человеке, который твердо следовал своей декларации, который заплатил за это кровью собственного сердца и в переносном, и в буквальном смысле.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Многое было за три года совместной учебы, жизни, дружбы. Воспоминания порой да-

ют самые неожиданные результаты. Экскурсы в собственную память напоминают мне глубокое бурение в предгорьях Кавказа: Заложили скважину для получения минеральной воды типа «Нарзан», а из нее начал бить фонтан газа. А бывает и наоборот: ищут нефть, а получают минеральную воду.

Вспоминаю о том, как мы с Хусеном по поручению местного Союза писателей записывали в аулах фольклорные произведения, а в памяти возникают картины нашего первого знакомства, первых встреч...

Из разных концов Адыгеи съехались мы на учебу, викрастые, черноглазые, черноволосые подростки. Никто никого не знал, кроме, разумеется, земляков-учащихся, прибывших из одного аула. А я уже тогда слышал о Хусене. По всей Адыгее прокатилась история со стихами школьника, которые похвалил известный адыгейский поэт Ахмед Хатков.

Рассказывали так. В стенной газете Мамхегской школы появились стихи ученика Хусена Андрухаева «Шехураджд». Небольшие такие стихи, но в них была, как говорится, искра божия. Адыги — очень поэтический народ, стихи эти стали распространяться по аулу, люди заговорили о том, что в Мамхеге живет юный поэт. Слух дошел, конечно, и до известного адыгейского поэта Ахмеда Хаткова. Он написал директору Мамхегской школы, чтобы ему выслали стихи начинающего поэта. Директор привез ему несколько тетрадей, которые выманил у Хусена. Ознакомившись с ними, Ахмед Хатков как будто сказал:

— Из него выйдет хороший поэт, надо помогать парню.

Кстати, потом я узнал, что в жизни все примерно так и было. В 1936 году Хатков лично познакомился с Хусеном. При одном из разговоров Хаткова с Хусеном мне даже довелось присутствовать самому. Признанный, маститый поэт разговаривал с подростком на равных. Как будто Хатков встретился со своим сверстником, более того, с человеком, от которого он ждет важного совета. Должен оговориться, что у нас, адыгов, вообще не принято сюсюкать с детьми, особенно с мальчишками. «Настоящий адыг» — многосложное понятие, включающее в себя, наряду с общепринятыми представлениями о мужском облике и достоинстве, и такие, как полное отсутствие сентиментальности, умение в любых случаях при любых обстоятельствах казаться равнодушным и многое другое. Так вот «настоящий адыг» не позволит себе неуважительного отношения к мальчишке, тем более к подростку, и в принципе в отношении Хаткова к Андрухаеву не было ничего удивительного.

Но все дело в том, что из их разговора я понял, что Хатков не просто соблюдает обычай, этикет, не делает вид, будто разговаривает с равным, а беседует с Хусеном действительно с большим интересом, получает от этой беседы большое удовольствие. Теперь понимаю — Хатков тогда был одинок, а в Хусене увидел равного. И обрадовался. Разницу в возрасте он не ощущал, вернее, ощущал лишь в первые минуты знакомства. Видимо, у него, как и у Маяковского, в душе зрело желание увидеть рядом с собой «такого, как я, быстрого». И он сразу понял, что Хусен — самородок, который не нуждается в переплавке, а

требует лишь шлифовки. Разумеется, не примитивной, а настоящей, когда талант шлифует сама жизнь.

Так вот, придя в училище, я знал, что встречу тут с молодым поэтом, которого благословил сам Хатков. Я тоже тогда уже писал стихи, но о них никто не знал, и во мне, помимо моего желания, зрело ревнивое чувство. «Подумаешь, мол, гений, написал несколько строчек, расхвалили, и уже никого не признает». Мне казалось, что я никогда не смогу подружиться с парнем, которого уже выделили из общей среды.

Но случай распорядился по-другому. Не успел оставить в комнате свой узелок, как один из преподавателей крикнул:

— Кто поедет набивать матрацы?

Я, конечно, не собирался отставать от других. Преподаватель поручил это дело нескольким парням, в том числе и мне. Был среди нас и большеголовый мальчишка высокого роста с живыми, очень приятными чертами открытого лица, которое хотя и было слегка побитое оспой, оставалось привлекательным, помужски уверенным, сильным. На подводе мы уселись рядом. Он шутил, баловался, а когда мы добрались до скирды соломы, предложил набивать матрацы вдвоем: один держит, другой утрамбовывает. К концу работы мы стали приятелями, а на обратном пути, плетясь за подводой, грузенной пузатыми матрацами, познакомились. Я не думал, что это «тот самый» Хусен, но на всякий случай спросил, скорее в шутку, не о нем ли говорил Хатков.

Хусен покраснел, смутился и вдруг сказал:

— Глухие люди разболтали то, что было

предназначено для одного. Хатков совсем не о том думал. Ты тоже лишишь?

Предвзятость, с которой я в мыслях относился к парню, отмеченному Хатковым, не распространялась на Хусена, с которым я познакомился во время набивки матрацев. Я признался, что тоже пишу.

— Почитай! — попросил он.

Я не стал «ломаться». Послушав, Хусен заметил, что ему нравится. Но, добавил тут же, не все.

Сказал это так, что обидеться я не мог: искренне, от души.

Теперь понимаю, почему я потянулся к нему: он был открыт, прямодушен, открыт со всех сторон. В его словах не таилось скрытой насмешки, намека на что-то неприятное. Говорил то, что думал. Мне нужен был именно такой друг. Никогда не забуду одного случая. Прочитал я в присутствии Хусена свои стихи поэту, уже признанному в те годы. Он похлопал меня по плечу, похвалил. Я обрадовался, даже немного возгордился. И вдруг, сам того не желая, нечаянно стал свидетелем его разговора с Хусеном о моих стихах.

— Слабенькие стишки читал мне сегодня Киримизе, — сказал он. — Вот твой мне нравится.

Я готов был провалиться сквозь землю. Надо же — без задней мысли приоткрыл дверь, чтобы войти в комнату, а там такой разговор. От неожиданности растерялся. Следовало подать голос или уйти, а я застыл на месте, сгорая от стыда.

— Спасибо! — ответил ему Хусен. — К счастью, я сейчас узнал цену вашей похвалы,

скажу об этом и Киримизе, пусть тоже знает.

— Я услышал! — откликнулся я.

Мы оставили поэта одного. Потом, когда Хусен поругивал мои новые стихи, я знал: правда дается нелегко. Но без нее он не был бы самим собой, Хусеном Андрухаевым.

И все же в первое время знакомства у меня, как мне думалось, была причина обижаться на Хусена. Причина чисто мальчишеская: казалось, что он уделяет мне слишком мало внимания и слишком много — другим. В первые же месяцы он организовал кружок любителей художественной литературы и начинающих авторов. К каждому относился с равным вниманием.

Хорошо, что я вовремя понял, что Хусен не может принадлежать одному приятелю. Инициатива была из него, он постоянно придумывал что-нибудь «для всех», и всегда находились десятки ребят, которые подхватывали эту инициативу. Он все более проявлялся как вождь, а говоря словами Маяковского, агитатор, главарь. И он ни на чем не останавливался, все сделанное было лишь началом нового. Как попытка догнать горизонт.

Литературный кружок в чистом виде существовал недолго — Хусен предложил издавать рукописный журнал. Избрали редакционную коллегию, начали отбирать материал, всколыхнули все училище. Потом сидели ночи напролет, переписывали его набело.

После выхода двух-трех номеров «своего» журнала «Первые шаги» Хусен вдруг на одном из занятий кружка сообщил:

— Ахмед Хатков сказал, что лучшее из нашего журнала передаст для областного аль-

манаха «Наш рост» и областной газеты «Колхозное знамя».

Газета эта, как и альманах, выходила на адыгейском языке, и Хусена уже знали в обеих редакциях. Вскоре с его помощью свет увидели и некоторые наши произведения. Я уже упоминал, что всех нас, начинающих, поместили в одной комнате. Анатолий Хазаров и Алий Хоретлев тоже печатались в областных изданиях. Оба погибли на войне.

Простота и сложность сочетались в Хусене вполне естественно. Он шел впереди своего поколения, шел большими уверенными шагами в большую поэзию, в мир Маяковского, Пушкина, Светлова. Как человек, комсомолец, он был прост и ясен. Он отдавал себя людям целиком и шел еще более быстрыми шагами в бессмертие, в мир неумирающего подвига, не замечая того, не думая о том.

Отдай себя людям — так жил Хусен. И тут сложное и простое переплеталось, словно кислород, азот и углекислый газ, составляя атмосферу, воздух, которым мы дышим.

По решению адыгейской областной писательской организации Хусен вместе с другими начинающими литераторами совершил в 1936—1937 годах поездку почти по всем аулам для записи произведений ашугов о В. И. Ленине. И тут он проявил свои способности организатора уже в большом масштабе. Если другие товарищи обращались к известным сказителям, то Хусен искал новые имена. Это благодаря его упорству, такту и трудолюбию люди узнали о таких ашугах, как Рау Хакуринов, Смелъ Бганов, Хаджибирам Мизегов, и других.

О встречах с ашугами он мог рассказывать ночи напролет. И каждый раз суждения его становились все более зрелыми.

— Мы часто сидим над бумагой и с ужасом ощущаем, что слов нам не хватает, — говорил как-то Хусен. — Но ведь язык, созданный народом, очень богат. Наши старики-сказатели владеют удивительно емкой, образной и лаконичной речью, они знают язык до самых глубин. Так и хочется их все время слушать. Кроме сказаний о Ленине, я записал в блокнот много новых сказаний и былин. Старики ничего не таят, только слушай. За время этих встреч я просто разбогател. Как выберу время, сразу опять поеду к старикам.

Он однажды сказал на занятиях литературного кружка:

— Наши стихи были бы богаче, если бы мы завели дружбу с нашими ашугами.

— Да ведь они безграмотны, — засомневался кто-то.

— Они не безграмотны, — возразил Хусен, — они только не умеют читать и писать. Но они знающие, культурные люди. А главное — очень талантливы. Десятки тысяч строф собственного сочинения хранит их память и сотни тысяч — чужих стихов, поверий, преданий, сказок. Вот часто слышишь суждение, будто народ наш в прошлом был темным, невежественным. Да так ли это? Верно, наш народ был угнетенным, обездоленным, его безжалостно обкрадывали материально и духовно, зверски эксплуатировали. Но темными наши предки не были и тем более не были невежественными. Они создали нартский эпос, они создали железную этику, правила обще-

жития, которыми не грех руководствоваться в самом культурном обществе.

Встречи с ашугами оказали влияние и на творчество Хусена, об этом свидетельствуют его стихи «О вожде»:

Есть на свете высокие горы,  
Но не каждый их видит и знает;  
Даже солнце, взойдя над миром,  
Лишь полшара оно освещает.  
Выше горной вершины наш Ленин.  
Светлый ум его мир озарил.  
И величье вождя мы познали,  
И кипучий родник своих сил.  
Утром льются по небу, сверкая,  
Самоцветы весенней зари,  
И поют о тебе, не смолкая,  
На колхозных полях косари.  
Все моря, океаны изучены, —  
Нет таких, чтобы были без дна.  
Мудрость Ленина — это могучая  
Молодая моя страна.  
Есть садовников много в мире,  
Есть удача у них на пути,  
Но никто еще так не умеет,  
Как наш Ленин, героев растить.  
Его слово ценнее жемчужины,  
В нем краса наших будущих дней;  
Если наши народы так дружат,  
Значит, дружба ковалась в огне.

Нисколько не отойду от правды, ничуть не покривлю против истины, если скажу, что Хусен был в училище всеобщим любимцем.

Как-то уже после войны я встретился с одним из преподавателей Адыгейского педагогического училища Андреем Васильевичем Лаптевым. Андрей Васильевич любил всех нас, был неотделим от училища. О Хусене сказал следующее:

— Даже внешний его вид вызывал уважение. Широкоплечий, густая шевелюра, воло-

сы непослушные, как ни приглаживай, закрывают лоб. Глаза смотрят пронизательно, пронизиывают. Был он ловким, сильным, всегда стремился к действию, не чурался никакого труда. Помню, как-то во время ремонта здания плотники не уложились в намеченные сроки и одна из классных комнат осталась без пола. Директор попросил студентов помочь. Во главе бригады назначили Хусена Андрухаева. Ребята не бросили работу, пока пол не был настлан.

Литературный кружок, которым руководил Хусен, вскоре стал желанным гостем в аулах. Литературные вечера в аульских клубах вошли в систему. Хорошо помню наши выступления в аулах Новая Адыгея, Афилипп, Тахтамукай (ныне Октябрьский) и многих других. На них Хусен буквально преображался. Видимо, таким и увидел его Ахмед Хатков. Он читал не только свои стихи, но и переводы из русских поэтов. В те дни в областной газете были опубликованы стихи А. С. Пушкина в переводах Ахмеда Хаткова, и Хусен с большим удовольствием читал их.

— Но ездить с одними стихами в аулы — слишком мало, — считал Ахмед. — Надо расширить программу.

И мы готовили одноактные и двухактные пьесы, небольшие доклады на политические темы, отвечали на многочисленные вопросы.

Однажды нам сообщили: студенческую самодеятельность приглашают жители аула Новый Бжегокай. Взволнованный Хусен сказал об этом ребятам. Большинство восприняло эту весть с радостью, а несколько человек заявили, что не поедут: нет времени.

— Нет времени встретиться с земляками нашего выдающегося героя! И как у вас язык поворачивается произнести такое, — возмутился Хусен.

— Какого героя? — удивился один из тех, кто заявил, что поехать не сможет, Аскер.

Хусен сделал глубокий вдох, лицо его стало каким-то печальным, обиженным, он явно растерялся. Я тогда очень этому удивился — оказывается, Хусен и теряться способен. Тогда, по молодости, я еще не знал, что самые сильные люди порой теряются, отступают перед нахальством, наглостью, тупостью. Они готовы вступить в бой с равным и пасуют перед невежеством. Быть может, потому и держится столь крепко у нас еще обыватель, которому наплевать на все, кроме собственного благополучия. Хусен, как я теперь понимаю, был сражен полнейшим безразличием Аскера к прошлому своего народа. Ведь того быть не могло, чтобы он никогда и нигде не слышал имени Махмуда Хатита. Значит — не запомнил. Равнодушен ко всему, что не касается обеда или ужина. Или новых штанов.

Кто-то напомнил Аскеру, что Махмуд погиб в астраханских песках, прикрывая отступление частей XI Красной армии.

— А... — протянул Аскер, что-то припоминая. — Его портрет в музее висит. Так он что, из этого самого аула? Ладно, уважим бордачей...

Казалось бы, все уладилось. Простое недоразумение. Показалось мне, будто и Хусен успокоился. Но это было не так. Ночью он долго ворочался в постели. Заметив, что и я не сплю, сказал:

— Это же страшно, Киримизе. Ведь и двадцати лет не прошло с того времени, когда погиб Хатит, а имя его забывается. Ты видел когда-нибудь двухсотлетние дубы? Знаешь, почему они стоят незыблемо веками? Корни могучие. И народ должен беречь свои корни. Будущий учитель не может быть равнодушен к традициям своего народа, ведь он заразит им своих учеников. Рассказы о наших революционерах, участниках гражданской войны надо обязательно включить в учебник истории. Или специальное приложение к нему сделать. Да, лучше всего приложение. Ведь все народы нашей страны внесли свой вклад в победу революции, и обо всех в учебнике не расскажем. Но в каждой республике, области надо издать свое приложение, в котором рассказать о своих героях.

Я согласился с этим.

— Скажу Хаткову, пусть внесет такое предложение, — вдруг оживился Хусен. — Молодежь должна знать о подвигах своих отцов все. Все! И повторять, как молитву.

— Ну, это ты перехватил, — заметил я. — Молитва — не слишком ли?

И тогда я услышал то, что запомнил на всю жизнь.

— Ты прав, — вдруг сказал он. — Как молитву — не годится. Молитва — проявление тупой беспомощности. А память о героях — одна из основ идейности. Вот видишь — идейности не хватает кое-кому, идейности.

Он ухватился за это слово, оно очень точно определяло суть его рассуждений.

— Идейность — основа всего, без нее и по-  
является это равнодушие.

Отвлекаясь от сути ночного разговора, хоту привести еще один пример того, как много думал Хусен обо всем этом. Однажды мы помогали колхозникам в уборке кукурузы. Была дождливая осень, мы вязли в раскисшей земле. Жирные кубанские черноземы походили на болото. Мы с Хусеном по обыкновению работали рядом: привычно ломали початки и, балансируя, чтобы не упасть в грязь, продвигались еще на шаг. Вдруг Хусен остановился. Я повернулся к нему. Он держал в руках изъеденный болезнью початок. Пузырчатая плесень полностью съела зерно.

— Посмотри, Киримизе, — сказал он. — Что это тебе напоминает?

— Пузырчатую плесень, — пошутил я.

— Э, — отмахнулся Хусен. — А я увидел в этом образное выражение равнодушия, безыдейности. Она разъедает душу человека так же точно...

Вернусь, однако, к поездке в аул. Программа концерта была пересмотрена, в нее включили революционные стихи, двухактную пьесу кубанского писателя, юмор, танцы.

На концерте Хусен сделал все, чтобы студенческая бригада заслужила одобрение слушателей. А после концерта, когда публика дружно аплодировала, вдруг вышел на сцену. Он попросил жителей аула рассказать гостям о своем земляке — Хатите.

Стариков долго упрасивать не пришлось. Заполночь шел этот разговор, и след он оставил очень глубокий. Когда мы шли на ночлег, Аскер не отставал от Хусена. Улучив момент, сказал:

— Я все понял, Хусен, спасибо...



Хусен ничего не ответил.

Был у Хусена еще один дар, который все ярче раскрывался с каждым концертом: его исполнительское мастерство. Стихи Пушкина в мастерском чтении Хусена очень нравились любой аудитории.

По просьбе переводчика Ахмеда Хаткова Хусен читал их в Краснодаре и в Майкопе на вечерах, посвященных великому русскому поэту. Это было большим признанием исполнительских способностей Андрухаева, так как и сам Ахмед умело читал стихи.

Лицо Хусена-общественника проявилось особенно ярко уже после окончания педучилища. В областной газете, куда его взяли, он был самым молодым. Но почти сразу же он был избран в местком, охотно выполнял поручения профорганизации. Заботился о заболелых, сам помогал старикам, был инициатором различных массовых мероприятий.

В военно-политическом училище он был редактором стенной газеты. Недавно, перечитывая его письма, нашел такие строки:

«...Назначили редактором стенной газеты роты. Это отнимает много времени, но работа мне нравится и стараюсь, чтобы каждый номер вышел в положенный срок. Помимо этого, я начал сотрудничать в окружной красноармейской газете «Красный кавалерист», которая выходит в городе Ростове...»

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теперь с высоты минувших лет перелистываю страницы прошлого, и все не верится, что Хусену в момент гибели было чуть боль-

ше двадцати. Недавно я был приглашен на юбилей одного писателя. Среди шумного застолья, отключившись от хвалебных спичей, стал нечаянно вспоминать, что же написано юбиляром за долгие годы пребывания в Союзе писателей. Две чудосочные книжки.

«Неужели и Хусен произносил бы здесь хвалебные речи, если бы остался жив?» — вдруг подумал я.

Уж в это верить не хотелось. Цельность его натуры сомнению не подлежала. Не только годы, каждый месяц его жизни насыщен был большими событиями. Учеба, творческая работа, руководство литературной молодежью, сбор фольклора, переводы с русского, наконец, работа в редакции, затем снова учеба — уже в военно-политическом училище, подготовка к печати сборников переводов и, наконец, война, бои, подвиг — и все это укладывается в короткое двадцатилетие. Двадцать — от рождения до смерти. Всего! Невроятно. Поэтому, мне думается, и заслуживает особого изучения каждый этап его жизни. Одним из важнейших периодов, несомненно, является время его работы в партийной газете.

И дело тут не только и даже не столько в литературной одаренности, сколько в гражданской смелости, умении видеть скрытую сущность вещей, проникать в тайники человеческого сердца. Пусть не обидятся на меня корифеи нашей журналистики, но я скажу, что мне более по душе материал, написанный пусть немного коряво, но страстно, затрагивающий важные вопросы, чем гладкий, хорошо отутюженный очерк, в котором все пра-

вильно, все пропитано казенным оптимизмом. Беседы с людьми, знакомыми с работой Хусе-на Андрухаева в газете, свидетельствуют, что в нем, как и в лучших наших публицистах, успешно сочетались страстность коммуниста-бойца, гражданина-патриота с талантом газетчика, интуицией художника.

Судьба, словно зная, что кого ждет впереди, торопилась с Хусеном. Он был приглашен в областную газету «Колхозное знамя» фактически еще до окончания педагогического училища. Газета «застолбила» его, послала на него заявку.

Думается, что приход Хусена в газету был полезен обеим сторонам — и ему, и газете. В то время областная газета «Колхозное знамя» объединяла вокруг себя лучшие литературные силы области, вела большую организаторскую работу в массах, вдохновляла людей на выполнение задач, которые ставила партия. «Колхозное знамя» привлекала большой актив, здесь начинали публиковать свои произведения почти все писатели Адыгеи. Коллектив редакции сделал много для воспитания подрастающего поколения в духе мужества, отваги, преданности Родине.

Он был взят в редакцию в качестве литературного сотрудника. С первых же дней проявил себя исполнительным, неутомимым и вместе с тем инициативным работником. Впрочем, термин «неутомимый» я применяю просто по привычке. В те годы, как и в первые годы после войны, сотрудник областной газеты небольшой национальной области должен был крепко любить свое дело, чтобы справляться с заданиями в срок. Длинноно-

гий Хусен писал мне, что основной его транспорт — «одиннадцатый номер». Через месяца три-четыре сообщил, что «пересел с коня на трактор», то есть разъезжает по аулам на велосипед.

Однажды он попал на ферму, которой руководил человек нерадивый, недобросовестный. Гневная статья в газете. Остро критиковал он все, что мешало нашей стройке. Не находил оправданий туеядцам, которые водились в аулах.

На борьбу с недостатками мобилизовал он и свое поэтическое дарование. Едкие стихи посвящал носителям пережитков прошлого, нерадивым работникам.

Каким он был в тот период? Люди, работавшие с ним, любили и уважали его. До 1970 года в газете «Социалистическэ Адыгей» (так теперь называется «Колхозное знамя») работала машинистка Фатимет Шадже. Вот ее свидетельство.

— Хусен умел себя вести в обществе, несмотря на молодость. Говорил тихо, никогда не повышая голоса, подкупал всех своей искренностью, душевностью, непосредственностью, а подчас и прямоотой. Он не мог терпеть грубости по отношению к женщине, тут он был непреклонен, мог сделать замечание старшему. Мы, машинистки, уже порядком уставшие, обычно печатали материалы, идущие в номер. Работы было много. Но вот, бывало, зайдет в машбюро Хусен, и мы невольно как-то преображаемся, усталость вдруг исчезает: он умел снимать ее какой-нибудь доброй шуткой, веселым словом. У него не было чиновочитания.

Из рассказов самого Хусена я знал, что в редакции была хорошая творческая атмосфера. Журналисты поддерживали друг друга, помогали молодым. Особое внимание Хусену уделял один из первых адыгейских журналистов Хазиз Тлябичев. Он правил первые статьи Хусена, учил его писать кратко, выразительно. Это по его совету Хусен занялся переводами на адыгейский язык русских советских поэтов. Один из первых его переводов — «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского. Первая удача окрылила Хусена. В течение нескольких месяцев он перевел более десяти стихотворений великого поэта. Местное издательство составило из них целый сборник, который успел выйти в свет еще до начала Великой Отечественной войны.

Работа над переводами вызвала к жизни несколько статей, посвященных переводам и стихосложению. Затем последовали статьи об адыгейской поэзии. Читая их, я понимал, что молодой поэт переживает состояние, которое можно назвать пересмотром позиций. Ясно было, что требования, которые Хусен предъявляет другим, он прежде всего адресует себе. Он много писал о гражданской позиции поэта и именно в те дни подал заявление в КПСС.

Он мужал, как патриот, и это прежде всего проявлялось в его стихах, в той атмосфере, которой он дышал. То, чем он дышал — наша современность, наша советская жизнь, — все сильнее врывалось в его стих, с каждым месяцем все более зрелые строки ложились на бумагу.

Перечитывая стихотворения Хусена Андрухаева, я все больше и больше сожалею о том, что даже теперь, через тридцать лет после его гибели, большинство его произведений совершенно незнакомо русскому читателю. Стихи, созданные с 1936 по 1940 год, с пятнадцатилетнего до девятнадцатилетнего возраста, говорят о том, что перед нами открывалась большая поэтическая жизнь.

Помню осень 1936 года. После занятий собираемся в общежитии. О чем-то спорим, как всегда. Вдруг Хусен набрасывает на себя кепку, пальто и выходит на улицу. Это значит, что он что-то сочиняет. В нем сохранилась привычка, унаследованная от ашугов, — слогать все в уме. Бесписьменные народы, каким до Октябрьской революции был и наш народ, хранили в своей памяти все то, что другие запечатлевали на сотнях манускриптов, — историю, легенды, предания, народное творчество. Когда Хусен садился писать стихотворение, это значило, что оно уже почти окончательно сложилось в его сознании. И в тот поздний осенний вечер он, возвратившись в общежитие промокшим до нитки, присел к столу. Исписав несколько страничек, успокоился. Ему хотелось представить «новорожденного», но, как всегда, он стеснялся этого естественного желания. Но он не мог не читать другим написанное, он должен был немедленно увидеть реакцию первого слушателя. И этим первым слушателем обычно бывал я. В тот раз он читать вслух не стал. Протянув странички, вышел из комнаты.

Стихотворение называлось «Я буду петь». Вот оно в переводе Валентины Твороговой:

Я сын Октября,  
я Отчизне служу.  
И радость, как солнце,  
во мне,  
Я новую песню сегодня  
сложу  
О нашей любимой стране.  
В нее я вложу  
и шуршание трав,  
И пенье дождей и реки.  
И пусть молодеют, ее услышав,  
В ауле моем старики.  
Пусть будет она  
о любви и весне,  
О нас, дорогие друзья.  
Она мне поможет в труде  
и в огне —  
Та главная песня моя.  
И если мне трудно  
придется в бою —  
Оружием станет она.  
Я песню свою до конца доложу,  
Мне с нею и смерть  
не страшна.  
Я сын Октября,  
я Отчизне служу.  
И радость, как солнце,  
во мне.  
Я новую песню  
сегодня сложу  
О нашей любимой стране.

Я прочитал его раз, еще раз и еще. Я не знал тогда, что оно уже запомнилось мне на всю жизнь, но был рад, что познакомился с такими стихами.

Он возвратился, взял листки. Ни о чем не спрашивал. И тогда я неожиданно для себя самого начал читать эти стихи по памяти. Должен сказать, что русский перевод сделан

неплохо, но на родном языке они звучали задушевней, лиричней.

— Послушай, — вдруг предложил Хусен. — У нас многие ребята пишут. Давай начнем издавать свой журнал. Рукописный, конечно. Пусть все читают, критикуют.

Вскоре он появился, первый номер рукописного журнала под названием «Первый шаг». Открывался журнал стихами «Я буду петь». Через некоторое время они были опубликованы в нашей областной газете «Колхозное знамя». Печатались там и многие другие стихи Хусена. Он был приглашен на первый съезд писателей Адыгеи в 1936 году, с ним, как с равным, сидели рядом, советовались престарелый ашуг Цуг Теучеж, один из основателей адыгейской литературы Ахмед Хатков. Не по метрике, а по стихам определили они возраст своего соратника по перу.

И теперь, разбывая наследство, оставленное Хусеном, я удивляюсь его самобытному, так рано заявившему о себе таланту.

Быть может, хоть некоторое представление о его возможностях дадут подстрочники его непереуведенных стихов. Вот строки, посвященные дереву, растущему в их дворе:

Старое дерево, ветвистое дерево,  
Тебя полюбил я с детства,  
Полюбил я твою красоту,  
Полюбил качающуюся голову —  
Много дней, жарких дней,  
Провел я под тенью твоих ветвей.  
Ветер, что чесал твою зеленую голову,  
Часто относил от тебя мой радостный лепет.  
От тебя, старого дерева,  
От тропинки, что убегаёт от тебя,  
Я шагнул в этот мир,  
Большой, необъятный мир.

Пусть это простой подстрочник, но разве в нем не просвечивает талант, разве не чувствуется биение большого, тонко чувствующего и переживающего сердца поэта. Старое дерево во дворе, а под ним — родное лицо матери, — не этот ли образ мелькнул в сознании Хусена, когда он срывал с предохранителя последнюю гранату.

Чтобы лучше представить то, что принесла малым народам нашей страны Великая Октябрьская социалистическая революция, чтобы лучше оценить путь счастья, на который она их вывела, чтобы глубже все это понять, следует порой оглядываться назад, сравнивать, не забывать о минувших невзгодах.

Прав знаменитый адыгейский ашуг Цуг Теучеж, сказавший: «Кто прошедшего не знает, не оценит наших дней».

Хусен в некоторых своих стихотворениях показывает картины дореволюционной жизни, воссоздает куски из нее. Одно из них звучит как рассказ старика и называется «Как я жил при царе».

Хусен рассказывал, что написал это стихотворение после колхозного собрания. Он пришел вместе с отцом, слушал доклад тхаматэ (председателя) о высокой выплате на трудодни, о дерзких планах, слушал выступления бригадиров и доярок, гордился своим аулом, как вдруг вперед вышел всеми уважаемый глубокий старик.

— Дети мои, — сказал он. — Радуйтесь новой жизни, но не забывайте, как жили мы, ваши отцы. Если забудете, уйдет из ваших сердец ненависть к проклятому прошлому и уж не столь ненавистным будет казаться вам

тот, кто, вспоминая об этом прошлом, вздыхает, тот, кто имел десятки и сотни десятин и считал нас рабочим скотом.

Он рассказал о своей жизни при царе, и потрясенный Хусен ночью записал его рассказ, придав ему поэтическую форму. Стихотворение «Как я жил при царе» Хусен прочитал на первом съезде адыгейских писателей в 1936 году. Помню, ему долго аплодировали собравшиеся. Любовно глядел на него престарелый ашуг Цуг Теучеж. Во время перерыва он сам подошел к Хусену. Беседовали они минут десять. Хусен, рассказывая о разговоре с ашугом, вспоминал:

— Теучеж советовал писать об армии, о защите Родины. Пусть каждый адыг, даже самый маленький, дошкольник, знает, что враг не дремлет, что фашисты все равно не дадут нам мирно жить, нападут, пусть все будут готовы отстоять новую жизнь.

И почти в каждом стихотворении на эту тему точно выражено личное отношение поэта к защите Отечества: моя жизнь принадлежит тебе, Родина, распоряжайся ею в грозный час...

Службу нес у границ СССР,  
Ночью и днем подстерегаю врага.  
Поднимет голову иль шелохнется —  
Уничтожить его я готов.

Молодой поэт, мечтавший влиться ручейком в адыгейскую поэзию, во многих стихах воспеваает мужество, храбрость, преданность своей социалистической Родине. Это — его главная песня, это — его главная тема, это — он сам, выраженный стихами.

Патриотические стихи поэта воспринима-

лись слушателями с непередаваемым энтузиазмом. В 1938 году мы вместе были направлены на педагогическую практику в родной аул Хусена — Хакуринохабль. Я пользовался тогда гостеприимством Борежа и Кутас целый месяц. Хусен предложил провести в Мамхегской школе, которую окончил, литературный вечер. На него пришло вместе со школьниками и много колхозников — им интересно было узнать, сбываются ли предсказания Ахмеда Хаткова. Хусен прочитал стихотворение «К портрету Маяковского». Оно так понравилось собравшимся, что его заставили прочитать стихотворение вторично.

После этого вечера Борежу не раз приходилось выслушивать похвалы в адрес сына поэта. Старик при этом старался казаться равнодушным. Глаза его блестели молодо, задорно, когда он говорил, что не находит ничего особенного в упражнениях Хусена: «Кто в молодости не грешил?»

Нельзя не удивиться и богатству тематики, жанровому разнообразию небольшого литературного наследия, оставленного Хусеном Андрухаевым. Одна из его линий — стихи для детей: «Пионер», «Песня волка», «Ласточка» и другие. Он учитывал особенности юного читателя, структура образа в его детских стихах отвечает восприятию школьника. Смотрите, как звучит в подстрочнике его «Ласточка»:

В синем небе, качаясь,  
Любит летать  
Ласточка белогрудая,  
Гостя весны.  
Ты звонче и голосистее других (птиц).  
Своими крыльями рассекаешь воздух,  
Делая красивые повороты (изгибы).

Мне нравится  
Стремительность твоего полета.  
В жаркий день  
Ты низко летишь над рекой  
И, касаясь крыльями ее поверхности,  
Сливаешься с ней.  
Твой щебет нравится мне,  
Тихая, мирная птичка,  
Ласточка, любима ты всеми.

Он много работал над собой, упорно и настойчиво учился у старших писателей, классиков, много и жадно читал, стремился поделиться приобретенным со своими друзьями, со всем адыгейским народом. Отсюда и тяготение к переводам. Кроме Маяковского, русских советских поэтов, он знакомил адыгейского читателя с творчеством Косты Хетагурова и другими поэтами национальных республик и областей.

Я уже упоминал, что за время работы в газете Хусен публиковал рассказы, корреспонденции, критические статьи в прозе и стихах, статьи о переводах, о творчестве молодых литераторов. Пробует он себя и в жанре очерка. Первый опыт в этом жанре, очерк «Аминет», был опубликован в 1939 году. Это задушевный рассказ о молодой адыгейке, которой новая жизнь открыла дорогу к образованию, свободному труду, счастью. Просматривая подшивку, нашел и второй очерк Хусена. И он посвящен человеку труда, передовому колхознику. Назывался очерк «Геройство».

А к стихотворению «Я буду петь» мне пришлось возвращаться много раз. Хоть и мало прожил Хусен, хоть и не успев в полной мере раскрыться его талант, но заявку свою на главную тему он сделал: «Я песню свою до конца допою, мне с нею и смерть не страшна!»

Он допел ее в бою. И последнюю точку в ней поставила противотанковая граната.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Большое объявление о конкурсе на лучшее стихотворение о Красной Армии привлекает внимание учащихся. В училище, уже в который раз, начинается «стихотворная суета».

Один за другим поднимаются на сцену парни. Стихи слабоваты, но чувства в них выражаются самые искренние. Лишь у немногих форма стиха соответствует содержанию. Больше всего нравятся мне следующие стихи:

Сердце мое просит звонких песен,  
Радость не измерить, не унять —  
В Армию иду я, чтобы с честью  
Родину, народ свой защищать.  
Все друзья, родные провожают,  
Весь аул у нашего двора.  
Счастья мне они во всем желают —  
Подошла желанная пора!

Их читает Хусен. Он стоит на краю сцены, сделал шаг вперед, словно остановившийся на ходу, неулыбающийся, напряженный. Последнюю строфу читает с особой искренностью, и не поймешь, тихо он ее произносит или выкрикивает:

Всем желаю, радостно волнуясь,  
Весело трудиться, мирно жить,  
Ведь за это с гордостью иду я  
В Армию Советскую служить.

У него много стихов, посвященных защите Отечества, Красной Армии, доблести и мужеству, патриотизму советских людей. Приведенные выше, если судить по содержанию, как будто написаны в день призыва, столько

в них искреннего чувства. Но ведь появились-то они на свет задолго до того, как Хусену пришла повестка из военкомата. Уже вступив в комсомол, он считал себя мобилизованным и отдавал армии свой поэтический дар. А когда повестка наконец-то пришла действительно — его брали в военно-политическое училище, — радость его нашла отражение в письмах. Он писал родным и друзьям, что идет в армию с очень хорошим настроением, что понимает, как трудно будет учиться, но у него хватит сил и выдержки, он готов к любым испытаниям.

Проводы ему, конечно, были устроены, кроме редакции, и в ауле. В доме Андрухаевых собралось множество народа: каждому хотелось сказать Хусену напутственное слово. А он все поглядывал на двери. Люди приходили и уходили, а Хусен все чего-то ожидал. Заметила ли Кутас, что ее сын необычно взволнован? Конечно. От материнского взгляда такое не скроешь. Но она и виду не показала, будто догадывается о чем-то.

Мне, своему другу, открыл Хусен сердечный секрет, о котором не знала даже его мать. Кутас не раз просила через старшую сестру осведомиться у Хусена, скоро ли он осчастливит ее невесткой, но он все отшучивался. И Кутас до этого дня не подозревала, что сын ее любит девушку из их же аула.

Однажды ночью, накануне выпускного вечера в педагогическом училище, Хусен назвал мне имя девушки, с которой хотел бы связать свою жизнь. Я видел ее, когда гостил в Хакуринохабле.

— За чем же остановка? — спросил я.

— Она меня не любит, — не сразу ответил Хусен. Сказав это, посмотрел мне в глаза. И я понял — он говорит правду.

И все же это показалось невероятным. Тогда мне думалось, — да я и теперь в этом убежден, — что не полюбить такого парня, как он, могла только слепая.

— Тут что-то не так, — сказал я ему. — Ты с ней говорил?

— Нет... — признался Хусен. — Но мне кажется, что она тянется к другому.

Он назвал его имя. Я его тоже хорошо знал: этот человек для Хусена значил очень много. И понимая, что это имя действительно могло остановить такого шепетильного в вопросах чести парня, как он, сказал не очень уверенно:

— Ты, наверное, ошибаешься. Не может быть, чтобы она тебя не любила.

Хусен грустно улыбнулся.

— Жизнь сложнее, чем мы ее себе представляем, — сказал он. — Положение классическое: я люблю ее, она — другого, а он...

— Он что?

— Он? Не поймешь... Не поймешь, Кирилизе, что он хочет.

— А если, по обычаю, украсть ее? — уверенно предложил я.

Хусен невесело рассмеялся.

— Это было бы здорово, — сказал он. — Одной рукой лозунги лиши, а другой невесту тащи... Дело ли это?

Я и сам понимал, что это нехорошо, но надо же было что-нибудь сказать. Мы долго молчали. Вдруг Хусен начал читать вслух:

Мы в России девушек весенних  
На цепи не держим, как собак,  
Попелуям учимся без денег,  
Без кинжальных хитростей и драк.

— Ясно? — добавил он. — Без кинжальных хитростей и драк.

Я ответил строфой:

До свиданья, пери, до свиданья,  
Пусть не смог я двери отпереть,  
Ты дала красивое страданье,  
Про тебя на родине мне петь,  
До свиданья, пери, до свиданья.

— Странные люди есть, — неожиданно заметил Хусен. — Маяковского признают, а Есенина — нет. А ведь это поэты, которые с одинаковой силой затрагивают сердечные струны. Возьми землю и небо — что одно без другого? Так и они — разные грани необъятного духовного мира нашей Родины.

Это отступление показывало, кроме всего прочего, что он более не желает говорить о своем личном, и я сам ни разу не затрагивал в наших разговорах тему личных отношений. Потом мы встретились в Майкопе — он уже работал в газете, а я еще учился. Мы прогуливались по аллее, которая тогда пересекала главную улицу Краснооктябрьскую. Стройный, серьезный, он словно бы не замечал проходящих мимо девушек, хотя они, нужно сказать, довольно прозрачно смотрели на него.

— Я говорил с ней, — вдруг сообщил Хусен.

По молчанию, которое последовало за этой фразой, можно было догадаться, что ничего хорошего он в ответ не услышал.

— Она сказала, что подумает. Если что — напишет...



Не написала...

Когда приехал в аул перед отъездом в военное училище, все ждал: вдруг подаст весточку о себе. Заглянет с матерью или кого-нибудь пришлет. Или записку передаст. Но она никакого знака не подала.

Хусен решил, что не по-мужски это будет — уехать, не получив определенного ответа. Он его получил, — и за то спасибо. Сказала, что выходит замуж за другого. И имя назвала. То самое имя. И Хусен отступил. Навсегда.

Прошло с того дня более тридцати лет. Оба, и Хусен и его счастливый соперник, сложили свои головы в боях с врагом. Но жива она, и мне не хочется называть имен — ни ее мужа, ни ее: к ней Хусен питал настоящее, глубокое чувство, с соперником был связан кровными узами.

В армию уехал уяснив, что любовь его никогда не будет взаимной.

Тогда Хусену было восемнадцать, и жить ему оставалось лишь два года. Но этого никто не знал. И я думал в то время, что такому, как Хусен, не стоит горевать: его полюбит другая — более тонко чувствующая девушка. А эта когда-нибудь поймет свою ошибку, неоправимую ошибку.

Тогда мне как-то не приходило на ум, что другая девушка может оказаться Хусену ненужной, как бы хороша она ни была, что его любовь может быть сильнее всего.

После войны я разговаривал с той женщиной. Упрекать ее не в чем было, — сердцу не прикажешь. И она жалела лишь о том, что оба погибли.

Думаю, что это невольное вторжение в

личную жизнь Хусена не набросит тень на его облик. Видимо, такой уж была его цельная натура — любить, так беззаветно. И если бы он остался жив, прошло бы немало лет, прежде чем он сумел бы раскрыть свое сердце перед другой. В своих письмах я иногда задавал ему вопросы о личных делах, интересовался, не влюбился ли он там, на Волге. Хусен отвечал шутливо, но в шутках тех сквозила плохо скрываемая тоска.

«Встречаться с девушками некогда, — общал он в одном из писем. — Закончим училище, займемся ими. Как только закончу, «слезу с коня» в Краснодаре, Майкопе».

Значит, там он — в роли всадника, которому недосуг ухаживаниями заниматься. Дело тут, конечно, вовсе не в нехватке времени. «Она» засела в сердце, как заноза, и ни о ком другом Хусен думать не мог.

Однако я отвлекся от самого факта проводов. О них много рассказывали Кутас, Аминет, аульчане: этот день хорошо всем запомнился.

Борез сказал на прощанье Хусену:

— Ступай, сын, доброго тебе пути, будь молодцом. Никто тебя никогда не одолет. В нашем роду еще не было случая, чтобы кого-либо из Андрухаевых трусом называли.

Мать погладила Хусена по голове и, сдерживая слезы, сказала:

— Да, мой Хусен, хотя для меня ты еще ребенок, ты должен отправиться на службу. Раз страна доверяет тебе винтовку, ты уже мужчина. Не отступай ни перед какими трудностями, не показывай спину врагу.

— Вы должны верить, — ответил Хусен родителям, — что никакие трудности меня не испугают.

Он пошел.

— Я видел его однажды на скачках, — сказал Борежу и Кутас стоявший рядом сосед, — и могу вам сказать, что вашего доброго имени не опозорит.

Армейская жизнь Хусена не оставляла ему времени для переживаний. У меня сохранилось несколько его писем, написанных из училища, которое, кстати сказать, находилось тогда в Сталинграде. Этот город, сыгравший огромную роль в жизни всей нашей страны, оставил зарубки и в личной судьбе Андрухаева. Вот одно из писем, присланных им из Сталинграда 25 июля 1940 года:

«Киримизе, салам алейкум!

Письмо твое получил. Порадовало. Жаль, что ты не получил моего второго письма.

Вы мало занимаетесь. А мы учимся одиннадцать академических часов по 50 минут с 5-минутными перерывами. Если учесть вечернюю проверку, утреннюю зарядку и ежедневные получасовые занятия по стрельбе — будет больше двенадцати часов. У нас не верят жалобам. В педучилище я не совсем усердно занимался. Теперь изучаемые материалы, предметы очень интересны и захватывают меня, прилагаю все силы, чтобы усвоить их. Когда нам сообщили результаты о сданных зачетах, у меня оказалось: по маршировке — «удовлетворительно», по всем остальным — «хорошо». По одному уставу имею «очень хорошо». Для изучения русского языка имею все условия.

Для того чтобы писать, пока времени нет, но закончим — и многое доделаю.

Киримизе, если хочешь научиться писать очерки, постоянно читай очерки корреспондентов «Правды». Даже будучи занятым в училище, я изучаю их стиль. Не пропускаю ни одной статьи.

В нашем училище ровно две роты, в которых одни выпускники институтов, некоторые из них преподавали нам военную географию, они грамотны. нас, выпускников училищ и техникумов, столько же. Когда мы поступали, не сдавали ни одного зачета. Мы были спецнабором.

Есть у нас хорошие лекторы. Консультанты тоже такие. Все они — старшие политруки, батальонные комиссары, полковые комиссары. Все командиры рот — участники войны. Они нам передают свой опыт. Через каждые шесть дней нам читают лекции по международному положению. Сами газеты читаем, узнаем много.

От Черима давно не получал писем. Обязательно вышли адрес Девтерова И. Н. Он мне давал рекомендацию в партию, но я еще не писал ему, что меня уже приняли.

Сейчас читаю книгу «Пархоменко» Иванова. Интересная книга, одно удовольствие.

Как с выпуском альманаха «Наш рост» — напиши. К какому месяцу выйдет? Какие новые книги вышли в Крайиздате, Нациздате и уже продаются? Какие выйдут? Если «Социалистическая Адыгея» дала в этом месяце лит. страничку, вышли мне. «Соц. Адыгея» как будто должна дать одну мою статью. Да, где сейчас адыгейский ансамбль, кто им руководит?

Начал писать в окружную красноармейскую газету «Красный кавалерист» (выходит в Ростове). Напечатаны две мои заметки. И теперь готовлю одну большую статью.

Получил письмо от Гакаме и дал ответ. Я с ней держу тесную связь.

Да, ты ничего не знаешь о Темрюке Меджиде? Где он?

Что еще могу написать? Больше я не знаю. Сообщи мне расширенно майкопские новости. Что обещают тебе насчет издания твоих стихов?

Ну, все. Крепко жму твою руку. Твой друг Хусен. 25/7-40 г. Сталинград, 21. п-я 157/2, ВПУ.

Жду ответа на это письмо. При получении следующего письма от тебя, напишу подробное письмо. Всего хорошего. Крепко целую тебя. Твой друг Хусен».

Советовал в одном из писем:

«Киримизе! Учись! После окончания будешь бойцом РККА или курсантом военного училища. Как занимаешься по физе? А я уже на турнике и на коне сносно работаю, бегаю тоже солидно».

Хусен никогда не лицемерил, и в этом также убеждают его письма. Благоговейно описывая службу в целом, он не пытался выдать плохое за хорошее, не мазал все розовой краской.

«Теперь у нас урок всеобщей истории,— читаю в одном из писем.— Правду говоря, этот предмет всем не по душе. Как-то скомканно, много материала, но мало часов, а сам лектор — с широковатыми ушами».

В переводе с адыгейского «человек с широ-

коватыми ушами» означает попросту «лопоухий».

Но таких лекторов в училище, судя по письмам, было мало, большинство офицеров не только выполняли свою работу добросовестно, но и были очень душевными людьми. Вот что писал он 27 февраля 1940 года:

«Знаешь, сегодня я (и вся наша группа) сдавал зачеты по партполитработе. Зачеты принимали: один политрук, один старший политрук, один капитан. Захожу в класс, приветствую их, докладываю:

— Курсант Андрухаев явился для сдачи зачетов.

Старший политрук спрашивает меня:

— У тебя брат есть?

— Есть.

— Где он?

— В Ленинграде.

— Учился в военно-политическом училище имени Энгельса?

— Так точно.

Старший политрук очень оживился, сказал:

— Он был хорошим курсантом, передавай ему от меня привет. Мы с ним хорошо знакомы.

— Хорошо. Спасибо».

Июль 1940 года особо памятен в жизни Хусена — он стал коммунистом.

«У меня большая радость,— писал он мне тогда,— меня приняли в партию. Эта весть обрадовала бы многоуважаемого Илью Николаевича [И. Н. Девтеров — бывший директор Адыгейского педагогического училища], который дал мне рекомендацию. Он один из тех, кто меня воспитал. Илья Николаевич — замечательный человек, он постоянно заботился

обо мне, как о сыне, во многом помог мне».

Хусен — коммунист! Иначе и не могло быть. К этому он и стремился.

Чем ближе подходил день выпуска, тем меньше оставалось времени даже для переписки. Не оставалось его и для писания стихов. Я упрекнул его в одном из писем в том, что он изменяет поэзии. Он в шутовском ответе процитировал Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». И добавил: «Надеюсь, поэзия не в обиде от моей измены — ведь изменяю я с ее любимцем».

Все, что делалось на литературном фронте в Адыгее, было ему очень близко. В том же письме он писал:

«Киримизе! Какие успехи в области литературы? Я пока ничего не пишу. Я за последнее время так сильно огорчен литераторами Адыгеи, что написал «Ноту» Нациздату и редакции «Соц. Адыгеи». Получу ответ от них и решу, буду ли вообще в дальнейшем посылать им свои вещи или нет. Через журнал «Красноармеец» связываюсь с одним переводчиком, и постепенно все дело пойдет в лучшую сторону. И, вероятно, совсем попрощаюсь с поэзией и перейду к журналистике. Буду писать небольшие очерки на военные темы. Этот вопрос будет окончательно решен к первому мая 1941 года.

За последнее время прочел книги: «Суворов», «Дм. Фурманов», «Фронтовой блокнот», «Рассказы о взаимной выручке в бою» и другие. Читаю их и делаю выписки, которые приносят пользу сейчас и пригодятся мне в будущем».

А вот одно из последних писем:

«Киримизе, здравствуй!

Получил твое письмо. Благодарю за это. Недавно получил письмо от Шовгенова Волугая. Помнишь его? Он окончил полковую школу и сейчас служит, вернее, работает младшим командиром. От Талиба тоже получил письмо. Все живы и здоровы. Я тоже живу и здравствую, но... Но предполагавшуюся в январе встречу придется отменить до сентября — октября месяца 41 года. Приказом наркома обороны Военно-политическое училище переводится на двухгодичное. Трудновато будет, но ничего, Киримизе, закалимся, научимся сражаться, как полагается воину.

Недавно Музей обороны Царицына получил интересный экспонат — 77-мм пушку. Она была прикреплена к палубе катера и находилась под водой 20 лет. Пушку сейчас вытащили, она в полной исправности.

Как живут твои родители? Мои живы и здоровы. Точно не знаю, но идут слухи: как будто дадут отпуск на 10—15 дней. Точно никто еще не знает.

Но ничего, дорогой Киримизе, увидимся в 1941 году. Ведь мы еще молоды, наше терпение выдержит и долгую разлуку. Встретимся, выпьем за все. Ну пока, всего хорошего.

Я просил тебя прислать «Большевик» и «Комсомолец» за 7/XI-40 г. Но ты прислал «Большевик» за 13/XI. Но ничего, наверное, не нашел. Но и эту газету мы, кубанцы, с интересом читали.

Недавно в Сталинграде открыт памятник Герою Советского Союза Хользунову. Номер комсомольской газеты, посвященный этому открытию, посылаю тебе. Прочти его.

Все. Крепко жму твои руки, дорогой друг».

Перед началом Великой Отечественной войны Хусен получил звание младшего политрука и был направлен на службу в одну из частей на территории Армянской ССР. Основной офицерский состав части состоял из участников боев в Финляндии, почти все за храбрость и мужество имели правительственные награды. Хусен был принят в их дружную семью. Черноглазый, подтянутый кавказец полюбился им за веселый нрав, не мешавший ему относиться к делу с предельной серьезностью и ответственностью.

Но прежде всего ему, политруку роты, следовало найти общий язык со своими подчиненными — солдатами и младшими командирами. Получилось это вполне естественно. Он становится организатором различных массовых мероприятий, налаживает выпуск стенной газеты, дает материалы в многотиражку части, готовит доклады. Вот их темы: «Оружие — друг бойца», «Герой добывает победу в бою», «Один трус принесет больше бед, чем сто врагов», «Как вести себя в бою», «Что такое дружба», «Труса настигает пуля» и другие. По воспоминаниям людей, служивших с ним в Ленинкане, он быстро завоевал авторитет и среди бойцов и среди командного состава.

22 июня 1941 года Хусен Андрухаев вместе с несколькими другими коммунистами отнес командиру части заявление с просьбой об отправке на фронт.

Через неделю — новый рапорт. Потом — еще один. А через несколько дней Андрухаева и других офицеров, просившихся на фронт, пригласили в штаб части.

— Добровольцев по одному посылать на фронт не будем. Придет время, отправимся все вместе. А сейчас надо готовиться к боям.

Хусен решил: ни одна минута не должна уходить без пользы для дела. В те дни он стал инициатором снайперского движения в части, инициатором, показывающим личный пример. Он упорно тренировался, стрелял без промаха, а вскоре, как об этом свидетельствуют документы части, получил винтовку с оптическим прицелом и стал одним из лучших снайперов в своем 773-м полку.

Чем больше дней войны проходило, тем яснее становилось, что победа достается нам дорогой ценой. Понимал это, разумеется, и Хусен. В одном из писем родным читаем:

«...Враг зажег пожар войны на территории нашей любимой страны. Но сгорят в этом пожаре сами фашистские захватчики. Я оправдаю доверие Родины. Я никогда не забываю тех напутственных слов, с которыми вы меня провожали в армию. Не беспокойтесь, свое обещание я сдержу. Мы разобьем проклятого врага и вернемся домой с победой».

Так и не довелось ему «слезть с коня», спешиться, расслабиться, подумать о своих личных, интимных делах. В сентябре 1941 года их часть по тревоге погрузили в эшелоны и отправили в Донбасс, где тогда шли кровопролитные бои. Темной осенней ночью рота Хусена заняла позиции на подступах к селам Белозерки и Раздоры и стала окапываться. Вместе со всеми взялся за лопату и младший политрук Хусен Андрухаев. Он рыл окоп методично, ровно, как автомат, не признавая ни перекуров, ни передышек. С каждым взмахом

лопаты прочерчивал дугу в ночи ствол снайперской винтовки, с которой он не расставался ни при каких обстоятельствах.

Мне довелось после войны встречаться с бойцами роты, в которой служил Хусен, с офицерами его части, с людьми, отход которых молодой адыг прикрыл своей жизнью, и мнение у всех было единодушное: настоящий это был человек, настоящий во всех отношениях. Бывший боец 773-го стрелкового полка Гавриил Иванович Мясоедов, проживающий ныне в знаменательном и для адыгов и для украинцев селе Дьяково Антрацитовского района, говорил:

— У политрука Хусена Андрухаева слово никогда не расходилось с делом. За это его очень любили бойцы, очень уважали его. Любили его беседы. Он говорил с людьми откровенно и в ответ также пользовался полным доверием. Он никогда не терялся. В бою его шутки порой поднимали дух, подбадривали солдат. Помню, один из нас оказался трусом. Это очень расстроило Андрухаева. «А ведь этот человек говорил о своей любви к Родине,— сказал Андрухаев.— Родине не нужны наши слова, свою любовь сейчас надо доказывать с оружием в руках, защищая ее от врага». А с какой душевностью говорил он о самом оружии, о том, как надо его беречь, готовить к встрече с фашистами. И тут свои слова подкреплял делами. Его винтовка всегда была без промаха.

Винтовка Андрухаева! О ней еще будет разговор.

Сознательно ли или повинуюсь какому-то чувству, я все оттягиваю описание событий, происшедших 8 ноября 1941 года у села Дьяково Антрацитовского района Луганской, ныне Ворошиловградской области.

И через тридцать лет, как и в тот час, когда весть эта впервые приползла ко мне, пальцы плохо держат перо. Трудно тогда было смириться с такой утратой, невозможно — теперь.

Не странно ли, что в начале войны судьба забросила меня в тот же город, в котором учился военному делу Хусен,— в Сталинград. Ни нам, ни фон Павлюсу, ни даже бесноватому Гитлеру не снилась еще тогда Сталинградская битва. Но ведь город этот вошел в наше сознание, как герой гражданской войны. Героическая оборона Царицына напоминала нам о мужестве наших отцов. Я был направлен в танковое училище. Ведя на полигоне огонь из танка, вспоминал совет Андрухаева:

— Успокойся, дыши ровно, за тобой не гонятся. Руки, руки, сделай так, чтобы они не дрожали, командуй ими, пускай в ход волю. Так. А теперь — целься... Проверь еще раз...

Я стрелял, мысленно переговариваясь с Хусеном. Мечтал попасть в часть, в которой уже сражался Хусен. Война разбросала нас, и мы потеряли друг друга из виду. Из дому мне ничего не могли сообщить о Хусене, так как письма его с фронта еще не дошли до родных и его полевая почта не была известна.

В минуты отдыха мы читали вслух «Правду» или «Красную звезду». Обычно это бывало так. Старшина давал команду «вольно», мы

несколько минут отдыхали. Потом он напоминал:

— Ну-ка, учитель, не знаешь своих обязанностей?

«Учитель» — это я, потому что пришел в училище из учительского института. Брал свежую газету, просматривал ее, выбирал наиболее подходящий материал и, согласовав со старшиной, начинал читку. Читались статьи о событиях на фронте и героизме в тылу.

Так было и в тот день.

— Ну-ка, учитель, — сказал старшина и, протянув мне «Правду», приказал: — Начинай с передовой, она о героизме на фронте.

Я бросил взгляд на заголовок, увидел, что газета от 28 марта. Март сорок второго года.

Мы сидели в небольшой избушке на танкодроме. Бойцы выжидательно глядели на газету. Переданные по радио последние новости уже были известны всем, но газета всегда давала что-то особенное. А более всего все надеялись услышать что-то важное, касающееся каждого лично.

Я читал. О мужестве советских людей, стоявших стеной на пути врага, о небывалом героизме, о жгучей ненависти к захватчикам. Читал, как обычно, переживая, подчеркивая главную мысль.

И вдруг глаза мои, забежав на строчку вперед, споткнулись о знакомое имя, голос дрогнул и замер.

Бойцы насторожились. Но тут раздался бодрый голос старшины:

— Давай, учитель, давай...

«Никогда не сотрется память о подвиге доблестного сына адыгейского народа, млад-

шего политрука Хусена Андрухаева, героически погибшего в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками», — прочел я.

Горло сдавило, словно клешней, я умолк.

Все поняли: что-то случилось.

— Кунака нашел? — участливо спросил старшина. И приказал: — Закончишь чтение передовой, расскажешь о кунаке. Давай, учитель, не распускайся.

«Пускай в ход волю!» — прозвучали в моих ушах слова Хусена, и я закончил чтение.

Передохнув, обравшись с мыслями, стал говорить о Хусене. Говорил сбивчиво, волнуясь, все еще не веря, что Хусена уже нет в живых.

Товарищи слушали молча. Лишь один солдат спросил, был ли Андрухаев женат. И я вдруг рассказал им все, что знал о личной жизни Хусена. О его большой любви и большом такте, о силе воли, с которой он сумел обуздать самого себя. Даже сказал, кем ему приходился его соперник. Эти люди должны были знать о Хусене все, все без утайки. Абсолютную правду. О стихах Хусена рассказал своими словами, — тогда еще ни одно из них не было переведено на русский.

Вскоре я узнал, что Хусену, первому советскому писателю, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Что-то рвалось наружу, и в один присест набросал статью о Хусене. Люди должны знать, каким он был. Статью отправил в краевую газету. Во время войны она выходила под названием «Большевик».

Вскоре нас отправили на фронт. В одном из боев, было это уже при освобождении Донбас-

са, вражеский снаряд угодил в наш танк. Очнулся в госпитале. После операции, когда пустая глазница зажила и в нее вставили стеклянное яблочко, я написал свои первые военные стихи. Они были посвящены Хусену Андрухаеву.

Дал себе слово: как только получу возможность, узнаю все о подвиге Хусена, сделаю все, чтобы имя его стало известно молодежи, чтобы подрастающее поколение воспитывалось и на его примере.

После войны связался с однополчанами Хусена, стал собирать газетные статьи о нем, журнальные публикации. Постепенно создавалась целостная картина обстановки, в которой проявилось во всей своей полноте мужество поэта-бойца.

Хочу рассказать о тех днях все, что узнал от очевидцев, все, что вычитал в документах.

Я уже писал, что часть, в которой служил Хусен, была отправлена на фронт в сентябре. 28 сентября 773-й полк вышел на исходные рубежи, вступил, как пишут, в соприкосновение с противником. В тяжелых боях полк нес потери и вместе с фронтом отходил в глубь Донбасса.

В первых числах ноября 1941 года механизированные полчища фашистского генерала фон Клейста были брошены в наступление в направлении городов Ровеньки, Шахты, Новочеркасск. Главный удар при этом направлялся на город Ростов.

В те дни 773-й стрелковый полк держал оборону уже непосредственно у села Дьяково. Бойцы без отдыха рыли оборонительные сооружения, строили блиндажи, в которых мож-

но было бы укрыться от танков, ходы сообщения. В числе других особенно отличились на сооружении линии обороны бойцы первой роты. Ее политруком был Хусен Андрухаев. Холм к югу от села Дьяково, который занимала первая рота, был изрыт сплошной линией траншей и ходов сообщения, укрытий и блиндажей. С наблюдательного пункта командира роты хорошо просматривалась вся окружающая местность. Специальные траншеи вели в укрытие, где был оборудован пункт первой медицинской помощи.

Вместе с бойцами над сооружением обороны работал младший политрук Хусен Андрухаев. Он, по обыкновению, не только оказывался лучшим «землекопом», но и подбадривал бойцов шуткой, проводил в перерывах короткие беседы. Если времени оказывалось чуть побольше, Хусен продолжал обучать своих бойцов стрельбе из снайперской винтовки.

— Винтовка с оптическим прицелом — грозное оружие, — говорил он. — Из нее можно разить врага с большого расстояния. Научишься метко стрелять, считай, что уничтожишь столько фашистов, сколько сделаешь из нее выстрелов.

Первым после Хусена овладел снайперской наукой старшина роты Николай Ильин. Вслед за ним в ряды снайперов стали и другие бойцы.

Силу меткого огня надо было проверить в деле. Хусен Андрухаев и старшина Николай Ильин с группой бойцов ночью выдвинулись за линию фронта и, оборудовав хорошо замаскированные ячейки, с рассвета повели огонь по фашистским солдатам и офицерам. Врагу был нанесен значительный урон. Когда группа



возвратилась на основные позиции, Хусен рассказал бойцам роты о первых успехах снайперов. Он сказал, кто сколько фашистов уничтожил. Особенно Хусен хвалил снайпера старшину Николая Ильина.

— Товарищ младший политрук, вы говорите о других, хвалите их, — сказал один из бойцов. — А сколько же фашистов уложили вы сами из своей снайперской винтовки? Скольким вы помогли сегодня выписать похоронки?

— Только десятерым.

О боевых успехах снайперской группы, созданной младшим политруком Хусеном Андрухаевым, сообщила дивизионная газета. Политотдел фронта посвятил этой группе специальную листовку. Рассказ о снайперском отряде Хусена Андрухаева заключало обращение ко всем бойцам фронта брать с них пример: «Будем бить фашистов по-снайперски!»

Немногим более месяца пробыл Хусен на фронте, но закалился, обстрелялся и вел себя, как бывалый воин. Меткие выстрелы из снайперской винтовки придали ему уверенность в свои силы. Авторитет его в роте был очень высок. Но Хусен не обольщался, знал: настоящие испытания впереди. И был готов к ним. Теперь, как и всегда, у него не было никаких колебаний или сомнений. «Стоять насмерть! Враги не увидят моей спины!» — такими мыслями встречал он каждое утро нового дня. С ними проснулся и утром 4 ноября 1941 года.

Неуютным казался мир в то дождливое холодное утро. В шесть еще было темно, подступы к безымянной высоте, на которой око-

палась рота, постепенно проявлялись в дождливой пелене. О большом наступлении, казалось бы, не свидетельствовало ровно ничто. И вдруг — заунывный, выматывающий душу вой «юнкеров». Сделав круг над позициями полка, они стали сбрасывать на окопы свой смертоносный груз. В то же время началась артиллерийская подготовка. За огненным валом в атаку двинулась пехота врага.

Первая рота, понесшая некоторые потери от артогня, не дрогнула. Немцы, поддерживаемые пулеметами, перебежали к высоте, уверенные в том, что сопротивления не встретят. Их остановил шквал огня. Особенно тяжелое положение сложилось на участке отделения Ивана Федорока. Трое убиты, в том числе и пулеметчик. Раненый Федорок подползает к пулемету. Огневая точка снова оживает, поливая огнем фашистов.

Передышка, враг залег. Но вот новая лавина немцев накатывается на высоту, и снова их встречает пулеметный и ружейный огонь. На выбор валит офицеров Хусен Андрухаев, выскивая их сквозь оптический прицел.

Так одна за другой — пять атак. Захлебнувшись собственной кровью, гитлеровцы отходят на исходные рубежи. Перед пулеметом Ивана Федорока, словно на скатерти, до пятидесяти фашистских трупов.

Как только появляется возможность, Хусен отправляет раненого героя в госпиталь. Вслед за ним в тыл уходит и представление к награде: командование роты просит присвоить отважному командиру отделения звание Героя Советского Союза. Это ходатайство было удовлетворено.

Темнеет. Хусен обходит людей, проверяет все огневые точки, рассказывает о подвиге Ивана Федорока.

Налаживается связь с тылами, бойцы получают горячую пищу.

«Пока мы живы, враг не пройдет!» — с такой решимостью встречают бойцы утро 5 ноября.

На этот раз артиллерийская подготовка не затягивается. И сразу же в атаку против первой роты поднимается до батальона фашистов.

— Вести прицельный огонь! — напоминает Андрухаев.

Снайперская группа не делает ни одного промаха. Несет врагу смерть и винтовка «КЕ-1729» — оружие Хусена Андрухаева.

Почти до обеда длится этот изнурительный, неравный бой. С каждым часом теряют фашисты свое основное преимущество — перевес в живой силе.

Командир дивизии передал по всем ротам: «Молодцы, и впредь так же твердо стойте. Не отступать! Держаться во что бы то ни стало!»

6 ноября гитлеровцы вели массированный артиллерийский и минометный огонь, но в атаку не поднимались. По донесениям разведки, фон Клейст решил сформировать ударные группы головорезов, чтобы любой ценой пробиться к Ростову. Их вооружают до зубов. Идет перегруппировка танковых соединений. Возможно, изменится и направление главного удара.

Канун великого праздника в наших окопах наполнен непрерывным трудом: все гото-

вятся к новой встрече с фашистами. Укрепляются окопы и траншеи, отводятся в тыл раненые, идет пополнение боеприпасами и довольствием. В редкие минуты передышек слово берут политработники, оформляют заявления о приеме в Коммунистическую партию.

Так наступает праздник. Немцы в атаку не поднимаются, но к встрече с ними все готовы. День проходит сравнительно тихо.

Вечером Хусен собирает бойцов.

— Ребята! — Глаза его сияют, лицо расплывается в радостной улыбке. — Великой Октябрьской революции исполняется сегодня двадцать четыре года! В честь этого праздника в Москве, как всегда, вчера прошло торжественное заседание.

— Правда? — удивляются бойцы.

— Постойте, это не все. Сегодня на Красной площади состоялся военный парад. Об этом сообщило радио, я это слышал своими ушами. Рядом со мной при этом стоял наш командир роты старший лейтенант Иванов.

— Ну, и мы тут не подкачаем, — сказал кто-то.

— Пусть только сунутся, гады, — поддержали его другие.

Вооружившись биноклем, Хусен оглядывает подступы к высоте. Где-то между ними и нами, у самого села Дьяково, плещется речка Нагольная. Точь-в-точь, как Шехурадж.

— Э-э-э, Шехурадж,  
Ты узкая и мелкая река.  
Но ты, пробиваясь по камням и скалам,  
Несешь свои воды в Лабу.  
Э-ге-гей, Шехурадж!..

— Товарищ младший политрук, — крикнул боец, — командир роты зовет.

Старший лейтенант Иванов сообщил, что, по показаниям пленных, немцы наметили на 8 ноября крупное наступление.

— Силы наши, — добавил он, — не так уж велики, надо все хорошо обдумать, сделать так, чтобы при любых неожиданностях пулеметы действовали безотказно.

Они еще раз прошли по траншеям, поговорили с каждым бойцом, укрепили пулеметные расчеты, четко распределили свои обязанности на случай любых неожиданностей, дали возможность людям отдохнуть.

Серый, мрачный рассвет застал Хусена среди пулеметчиков. Он тихо беседовал со вторым номером, первый, привалившись к грязной стене блиндажа, похрапывал.

Теперь известно: в тот час немцы начали наступление на широком участке фронта. На неприступные позиции советских войск были брошены дивизии «Виккинг», «Великая Германия», «Адольф Гитлер» и другие. Клейст решил в этот день прорвать оборону русских, не считаясь ни с какими потерями.

В разгар артиллерийской подготовки появились вражеские бомбардировщики. На передний край посыпались бомбы. К гулу канонады добавился душераздирающий вой силен пикирующих стервятников.

Кажется, уже нет на земле, нет на этой безымянной высоте ни одного живого клочка, ни одной не взрытой осколками, не истерзанной бомбами яды. И как только стихли разрывы, на подступы к высоте двинулась фашистская пехота.

Каждому известно: без команды огонь не открывать. Но команды все нет и нет. Вот уже до защитников высоты долетают пьяные возгласы немцев. Враг уверен в своей безнаказанности, враг прет вперед все нахальнее, все быстрее, а команды «огонь» все нет.

Хусен поднимается во весь рост, глядит на блиндаж, в котором должен быть командир роты. Там все разворочено. Значит, команды ждать неоткуда. Прощай, друг, ты выполнил свой долг до конца. И прежде, чем к нему добирается связной погибшего Иванова, Хусен открывает огонь из пулемета. Это — сигнал. В то же мгновение высота оживает, ошетинивается. Передние ряды наступающих валются, сраженные метким огнем, пулеметные струи начинают бить на выбор тех, кто успел прорваться вперед.

Первая атака захлебывается.

Вытерев пот, Хусен замечает, что рассвет давно уже превратился в утро. Тучи немного разошлись, видимость улучшилась. И он понял вдруг: их соседи справа и слева отошли. Видимо, был приказ. Они такой приказ получить не могли, ибо их КП разворочен, а командир роты убит.

Он пытается связаться с командованием, но в этот момент начинается вторая атака. Боеприпасы надо беречь, и бойцы ведут нечастый прицельный огонь из винтовок. Ученик Хусена, снайпер старшина Николай Ильин, пользуясь тем, что Хусен у пулемета, валит фашистов на выбор из снайперской винтовки политрука. Его мишени — офицеры, их легко узнать по фуражкам с высокой тульей.

И снова враг откатывается.

— Смотри, политрук!

Один из бойцов обращает внимание Андрухаева на то, что немцы начинают обтекать высоту вне досягаемости их огня, там уже нет никакой обороны. Пройдет совсем немного времени, и рота окажется в кольце.

Да, теперь эта высота потеряла свое значение, враг прорвался на других участках. Оставаться здесь нет нужды. Рота должна присоединиться к своим.

Но так просто оставить эту горячую позицию нельзя: немцы, озлобленные многодневными неудачами, словно шакалы, петляющие вокруг раненого, только и ждут того. Отход надо надежно прикрывать.

Хусен собирает людей, отдает приказ: присоединиться к своим. Он передает командование ротой старшине Ильину. Советует: если можно, захватить раненых.

Людам ясно — Хусен решил сам прикрывать их отход.

— Товарищ младший политрук, останусь я, — кричит Ильин. — Вы должны уйти с ротой, вы ранены, вы — командир...

— Выполняй, Коля! Времени для споров нет!

Действительно, среди врагов заметно движение.

— Хусен!.. — шепчет Ильин. — Братик мой...

Они ведь так сдружились...

— Иди! Не забудь винтовку, я с пулеметом останусь.

Хусен не спускает глаз с немцев.

Надо бы попрощаться, но тогда уж не останется надежд на встречу. А так, по-деловому... Может, и догонит...

Николай хватает винтовку с оптическим прицелом, поворачивает к Хусену свое открытое лицо и не может сдержать слез.

— За мной! — кричит Ильин.

Но люди что-то медлят, нерешительно поглядывая на командира.

— Братья! — восклицает Хусен. — Другого выхода нет, доброго вам пути.

— Пусть и винтовка остается у тебя, она с патронами, — говорит Николай и кладет винтовку Хусена возле пулемета.

В этот миг враги по какому-то сигналу поднимаются снова. Пулемет Хусена начинает стрекотать, и под этот марш бойцы скатываются по склону. Они торопятся туда, где чернеет кустарник, где могут быть свои.

Они знают — между ними и фашистами надежный заслон: их политрук.

Они знают: пока бьется его сердце, враг не ударит им в спину.

Они знают: враг сегодня от высоты уже не отойдет — с одной огневой точкой немцы раздelaются быстро.

Бойцы отходят, прислушиваясь: не умолк ли пулемет младшего политрука. Нет, не умолк, бьет, словно замороженный.

Так и скрылись под стихающий перестук пулемета, так и не поняли: то ли расстояние поглотило звук, то ли окончился последний патрон в последней ленте. Никто из отступающих под аккомпанемент того перестука не знал стихов поэта Андрухаева, а большинство даже и не подозревали, что их политрук пишет стихи.

Знал о том лишь Ильин, но и он мог лишь предполагать, каковы они, стихи его брата.

В шестнадцать или семнадцать лет Хусен объявил в стихах свое гражданское кредо: «Я буду петь!» Он хотел сложить песни, в которых бы слышалось шуршанье трав, голос дождя и реки. Он хотел, чтобы эти голоса составляли молодеть стариков, а юношей — еще крепче любить. Но более всего мечтал он сложить свою главную песню, которая бы ему самому помогала в труде и в огне:

И если мне трудно  
придется в бою,  
Оружием станет она.  
Я песню свою до конца допую,  
Мне с нею и смерть не страшна.

Думая о том, что произошло на безымянной высоте в восьми километрах от украинского села Дьяково, я отчетливо, до боли в глазах представляю себе Хусена. Вижу не только его самого, простого, понимающего, что вот сейчас ему предстоит спеть свою главную песню, и написана она будет пулеметными очередями, неровными и твердыми, как его стихи.

Угадываю и его мысли, такие же простые, и вместе с тем такие же неповторимые, как и он сам. Он думал одновременно обо всем. О реке Шехурадж. О Қоле Ильине. О дороге, на которой рота догонит своих. О Кутас, которая никогда его больше не увидит и которая, подчиняясь суровым адыгейским обычаям, и слезинки не прольет по нем на людях.

Он знает: у Кутас много детей, но рана в ее сердце не заживет никогда.

Да, он думал об этой ране, и наконец эти мысли о матери вытеснили все.

Он водил стволом пулемета за возникаю-

щими впереди фигурами и знал, что поет свою главную песню. Знал, что мелодия этой песни будет всегда звучать в ушах Кутас. И как ни больно будет ей слышать ее, еще больней было бы услышать из уст других одно лишь краткое, похожее на плевок слово: «Трус».

Он и об этом думал, я уверен. Ведь даже не так-то просто быть смелым в коллективе, когда чувствуешь локоть друга, дыхание товарища, когда знаешь, что ты не один. Остаться же вполне сознательно с глазу на глаз со скопищем озверевших врагов — тут мало смелости, которая рождается в коллективе, поддерживается присутствием товарищей. И мало порыва, вспышки самолюбия, которая порой толкает на поступки отчаянные.

И еще, уверен, он немного жалел о том, что тысячи песен, которые должны были бы заполнить промежуток между его первыми стихами и этой главной песней, так и останутся неизвестными, уйдут вместе с ним.

Повторяю: немного жалел... Не очень сильно, ибо понимал, что вовсе не в том дело, сколько человек прожил. Все дело в том — как...

Именно это для Хусена Андрухаева было главным.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прости меня, читатель, за малодушие. Вот уже какой день перебираю в своем сознании все подробности гибели Андрухаева, но никак не могу приблизиться к тому роковому моменту, когда Хусен взмахнул гранатами.

Мне кажется, что необходимо рассказать о том, что было, со всеми мельчайшими подробностями. Мне представляется это крайне важным.

Ты спросишь, читатель, откуда известны мне все эти подробности, не являются ли они плодом моей фантазии?

Нет! Ведь многие из тех, кого прикрывал Хусен своим телом, для кого он пел свою главную песню, живы и по сей день. С большинством из них я встречался, беседовал, собирая по крупицам то, что навеки засело в их памяти в тот трагический час разлуки.

Один боец сказал:

— Когда мы отходили, пулеметный огонь то и дело прерывался. А потом начинался снова. Я оглянулся, когда пулемет снова стих, и понял, что Хусен меняет позицию.

Разве не ясно? Хусен хотел, чтобы немцы как можно дольше не догадались о том, что защитники оставили высоту. В противном случае его жертва потеряла бы всякий смысл: немцы в этом случае и секунды бы не задерживались здесь, они бросились бы вдогонку отступающим.

Но этот обман не мог длиться очень долго. В какой-то момент немцы все же догадались, что высоту защищает один-единственный человек. Видимо, это произошло, когда наверху была расстреляна последняя лента.

У Хусена еще оставались винтовка, наган и две противотанковые гранаты. Наган — это личное оружие, а гранаты попросил у кого-то из отступающих. Хотели дать больше, взял две. И это тоже говорит о том, что все им было продумано до конца. До самого конца.

Одиночные выстрелы из нагана — это уже не заслон. И враг ринулся на высоту.

Но Хусен продолжал бить без промаха. И тогда начались переговоры.

И это, я снова обязан оговориться, — не домысел, а тем более не вымысел. Об этом бое имеют достоверные данные из показаний немецких пленников и из архивов. Вот выдержки из протокола допроса немецкого офицера, попавшего через некоторое время к нам в плен.

«Когда с вершины высоты перестали раздаваться выстрелы, мы догадались, что у русских кончились патроны. Наши солдаты пошли снова в атаку. Пошел и я. На высоте мы увидели русского офицера с раненой головой. Голова его была перевязана окровавленной тряпкой. Сначала нашим автоматчикам показалось, будто он сдается в плен: русский поднял вверх руки. Мы обрадовались — был приказ взять хоть кого-нибудь на высоте живым. Наши начали кричать: «Рус, сдавайся, сдавайся, рус» — и смело приближались к нему. А когда солдаты подошли совсем близко, почти вплотную, он бросил гранаты. Первый раз вижу такого героя».

Наша история соткана из фактов, непреложность которых неоспорима. Мы знаем, как вели себя защитники Брестской крепости, долгий месяц сражавшиеся в полном окружении; мы знаем, что крикнула людям Зоя Космодемьянская, когда стояла на эшафоте. Мы знаем, как шли к стволу шахты молодогвардейцы: шли с гордо поднятой головой, шли с песней, шли как победители. Мы знаем, как погибли Матросов и Гастелло, Зорге и Мане-

вич. Это не литературные герои, не плод писательской фантазии, а наши современники, наши товарищи, наша сталь.

Вот так же погиб и Хусен Андрухаев. Он поднялся навстречу врагу с поднятыми руками и все смотрел, смотрел, много ли их набирается — любопытных, жаждущих мести, желающих поскорее поглазеть на советского офицера, которому неведом страх.

Может быть, он крикнул: «Не радуйтесь, гады!» Или короче: «Получайте же!» А может, совсем другое прогремело над высотой. Прощаясь с жизнью, готовя самому себе салют, Хусен мог озорно, лихо прокричать на своем родном языке: «Э-ге-ге! Прощай, Шехурадж!»

Но все это мои мысли. В действительности же он выкрикнул самое сокровенное, самое главное: «Русские не сдаются!» Хозяин советской земли ответил фашистам за весь народ, который он здесь с таким достоинством представлял: русские не сдаются!

Это произошло на исходе восьмого ноября 1941 года. Около тридцати фашистов унес тот взрыв гранат.

А люди, которые отошли? Те, кого прикрывал Хусен, и те, с кем они должны были соединиться?

Бойцы роты догнали своих. На выручку Хусену был отправлен отряд. Он пробился к высоте, выбил оттуда гитлеровцев. Но уже было поздно. Николай Ильин нашел на месте схватки винтовку с оптическим прицелом. Магазин ее был пуст. Бережно вытер оружие и передал его, как боевую реликвию, комиссару Шемякину. Ильин же нашел и растерзанное осколками тело друга. Оно было вместе с

другими телами павших бойцов отправлено в село.

В центре села Дьяково вырыли братскую могилу. В ней, плечом к плечу со своими боевыми товарищами — русскими, украинцами, казаками, белорусами, — как и в жизни, был уложен Хусен. На могиле слово произнес и Ильин. Он прямо обратился к Хусену:

— Дорогой друг, ты совершил подвиг, который учит всех нас мужеству. Ты храбро, бесстрашно сражался с врагом, который хочет нас поработить и закабалить, ты сделал все для победы над проклятым фашизмом. Ты всегда был и останешься среди нас честным и беззаветно преданным Родине. Мы всегда будем помнить, как подбадривал ты нас в трудные минуты. Твой подвиг будет вдохновлять братьев по оружию. Ты всегда будешь с нами.

К Ильину подошел комиссар части Борис Павлович Шемякин.

— Старшина Николай Ильин! — сказал он. — Это Хусен Андрухаев сделал тебя снайпером. Вы, как братья, любили друг друга. Передаю тебе оружие бесстрашного политрука Андрухаева, знаю, что ты отомстишь врагам за его смерть.

Он обнял Ильина, как сына, и передал ему отныне прославленную винтовку.

— Даю слово, товарищ комиссар, — ответил Ильин, — что не опозорю имени нашего героя Хусена Андрухаева. Многих немцев найдут выстрелы из этой винтовки.

А когда Родина отметила бессмертный подвиг моего земляка высшей боевой наградой, к прикладу этого почетного оружия была при-

креплена металлическая пластинка с выгравированными на ней словами:

«Имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева».

В тот день, 27 марта 1942 года, Николай Ильин уничтожил из нее особенно много врагов, больше, чем когда бы то ни было ранее.

Мне удалось прочесть необыкновенный документ: дневник старшины Ильина. Он аккуратно записывал, как мстит врагам за Хусена, за слезы его матери. Вот одна лишь запись оттуда: «27 декабря 1942 года. Я выполнил задание, уничтожил 11 здоровенных фашистов. За все время пользования снайперской винтовкой, включая и сегодняшний день, я уничтожил 301 фашиста».

На цифре 494 снайперская винтовка адыга Хусена Андрухаева выпала из рук богатыря Николая Ильина. Почти пятьсот врагов отправил на тот свет замечательный ученик Андрухаева. На его могиле боевое оружие было вручено ученику Ильина — украинцу Афанасию Гордиенко.

Афанасию Гордиенко, как Андрухаеву и Ильину, было присвоено звание Героя Советского Союза. В одном из тяжелых боев он получил смертельную рану. Теперь на винтовке «КЕ-1729» начертано и его имя.

Незадолго до Дня Победы комиссар полка, где служили три героя, Борис Павлович Шемякин прибыл в Москву. Он сдал в Музей Советской Армии историческое оружие, ставшее символом братства, дружбы, мужества, преданности социалистической Отчизне.

Вот и весь рассказ о жизни и смерти Хусена. Но разве полным будет повествование без того, что произошло после. Это можно было бы назвать бессмертием Хусена.

Казалось бы, с годами должны забываться имена погибших: время, отдавая горе, как будто лечит его.

Но имена наших героев, их подвиги подобны тем могучим деревьям, чьи корни с каждым годом все прочнее уходят в землю, чьи кроны с каждой весной становятся все пышнее и необъятнее. Так и с именем Хусена Андрухаева. Его имя, как почетную память о подвигах народа в Великой Отечественной войне, как орден или медаль на груди, носят школы и пионерские отряды, улицы и дома культуры, клубы и кинотеатры.

А совсем недавно украинские товарищи повезли посланцев Адыгеи на безымянную высоту, расположенную в восьми километрах к югу от села Дьяково.

Вскоре прошли наверх, остановились у огромного камня, расположенного на вершину. На камне том высечено:

«На этой высоте 8 ноября 1941 года погиб Герой Советского Союза Хусен Андрухаев».

Вокруг камня посажены деревья.

— Сажены из Адыгеи привезли, — сказал один из местных жителей.

Неподалеку от камня адыгейская коновязь устроена, из живого дерева. Ее тоже привезли из родного аула Хусена.

В селе Дьяково нас повели на улицу Андрухаева. Неподалеку от нее несет свои воды



речка Нагольная. На улице Андрухаева живут сорок семей колхоза имени В. И. Ленина. Во дворах чисто, в домах уютно, а перед окнами, на улице — деревья и цветы.

— Улица, носящая имя героя адыгейского и украинского народов, — сказали нам здесь, — должна быть красивой и светлой, какой была его короткая, но славная жизнь.

По случаю приезда земляков Андрухаева на этой улице состоялся митинг.

В селе Дьяково имя Андрухаева встречается на каждом шагу. В центре села — братская могила, на могильной плите — имена героев, павших в боях за село. Сверху стоит: «Герой Советского Союза Хусен Андрухаев».

9 мая 1967 года в сельском парке был установлен памятник из белого мрамора работы адыгейского скульптора К. К. Сидошенко, точно такой, какой высится в центре аула Шовгеновский. На нем всего два слова: «Хусен Андрухаев».

Теперь и парк носит имя героя.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда я начал эту книгу, то наивно полагал, что острее всех других чувствую отсутствие друга.

А недавно, проходя мимо Адыгейского исторического музея, вспомнил, как вел меня Хусен в Краснодарский музей, и зашел в прохладные залы истории.

На одном из стендов увидел его портрет. Да, это он — черноволосый, черноглазый, жадно любознательный, вглядывающийся в жизнь. И надпись над стендом:

## «Хусен Андрухаев».

Не сразу удается занять место поближе, слишком уж много тут народа. Поначалу даже чувствую некоторую обиду — могли бы уступить место пожилому человеку.

Но вдруг до меня доходит: это их стенд! Это собственность: их школа, их вдохновение, их присяга.

И тихо отхожу в сторонку.

Потом, когда поток посетителей прерывается, подхожу поближе. Читаю его стихи, которые знаю на память, разглядываю его портрет, который снится мне много лет, читаю выдержку из передовой статьи «Правды», которая вошла в меня весной 1942 года незаживающей раной. Здесь и мать Хусена, и его боевые друзья; грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя. В уголочке — и моя книга о Хусене, написанная для адыгейского читателя. Эта самая книга, еще не переведенная на русский язык.

В это время в зал набегают новые посетители — школьники. Уступив место у стенда. Им, юным советским гражданам, начинают свою жизнь сегодня.

Мне хочется все же затесаться в ряды ребят, но в ушах моих звучит знакомый спокойный голос: «Успокойся, дыши ровно... пускай в ход волку...» Сейчас бы он сказал: «Не мешай им, Киримизе».

И я выхожу из музея.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая . . . . .	5
Глава вторая . . . . .	16
Глава третья . . . . .	29
Глава четвертая . . . . .	40
Глава пятая . . . . .	49
Глава шестая . . . . .	62
Глава седьмая . . . . .	67
Глава восьмая . . . . .	74
Глава девятая . . . . .	89
Глава десятая . . . . .	103
Глава одиннадцатая . . . . .	109
Глава двенадцатая . . . . .	110

**Цена 13 коп.**

**КРАСНОДАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1974**